

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 24

1983



*Ольга КОЖУХОВА*

**ПОКА ЖИВЫ,  
ПОКА НЕ ЗАБЫЛОСЬ**

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 24

---

Ольга КОЖУХОВА

**ПОКА ЖИВЫ,  
ПОКА НЕ ЗАБЫЛОСЬ**

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1983

## Ольга КОЖУХОВА

*Ольга Константиновна Кожухова родилась в Воронеже. Там она училась в средней школе, оттуда в августе 1941 года ушла в армию. С самых ранних лет писала стихи, в том числе и на войне: в дивизионной, армейской и фронтовой печати. Со стихами поступила в Литературный институт им. А. М. Горького, потом перешла на прозу. Ольгой Кожуховой написаны повести «Хлеб, которым делишься», «Не бросай слов на ветер», роман «Ранний снег» и снова повести: «Фонарики, плывущие по реке», «Двум смертям не бывает», «Донник» «Ночные птицы», «Рано утром и поздно вечером» (записки из дневника). Центральная тема творчества писательницы — все, что относится к войне, острые, сложные и трагические ситуации.*

*За годы войны Ольга Кожухова награждена орденами и многими медалями, в том числе польскими. Созданные ею произведения удостоены Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького, премий Министерства обороны СССР и им. Николая Островского.*

*Ольга Кожухова награждена орденом Дружбы народов.*

## ПОКА ЖИВЫ, ПОКА НЕ ЗАБЫЛОСЬ

В сорок первом году наша дивизия формировалась в Новохоперске, красивом казацьем городке, тихом, зеленом и белом над красивой рекой Хопром. Дома в своем большинстве одноэтажные, каменные, снаружи беленые. Улицы вымощены булыжником. В городе был большой старый парк с разросшимися деревьями, дамба к реке, обсаженная тополями, с другой стороны городок уходил в гладчайшие степи, в ржаные поля. Лишь у самой окраины, над рекой, было нечто вроде покато́й возвышенности, холма. Впрочем, может быть, это источенный временем скифский курган, кто знает? Назывался он — Казачий бугор. Видимо, во времена казачества на нем проходили учения, сходки, занятия с винтовкой и конем.

А жили мы в доме-интернате для глухонемых, и располагался этот дом на немощенной широкой улице, уходящей вниз, довольно покато, к речному броду.

Когда, спустя тридцать лет, я приехала в Новохоперск, то в первую очередь почему-то спросила: а как же называется улица, на которой мы жили? На войне-то ведь не было обычных адресов, а была просто полевая почта, воинская часть номер такой-то. И ничто нас, молодых, тогда не интересовало, кроме нас самих, — а что же с нами будет? Ну, да еще, что происходит на фронте...

А улица, на которой мы жили в сорок первом году, была вся изогнутая, как лук, ее внутренняя сторона натянута, как тетива. Называлась она, оказывается, «Мамаева протока».

То есть протачивались сквозь русские земли войска Мамаев, его армии на конях и повозках шли к броду, чтобы переправиться через Хопер в темноте, под огромными звездами, и двигаться на Рязань, на Москву, на удельные княжества, грозя истребить их огнем и мечом.

Какое дивное название! Даже не верится, что за столькие годы и всякого рода потрясения оно уцелело. Это надо же быть такой глушью, это надо же жить так памятно и аккуратно, что не забыть и через века, через целую вечность, как шел Мамай со своим войском к броду, неся с собой огонь для городов и посадов, смерть, насилие, разграбление и постыдный полон...

А мы на этой улице делали зарядку в одних галифе и мужских нижних рубашках. Отсюда мы шли на занятия на Казачий бугор или в лес, за реку Хопер, или же на дивизионные военные учения, в поход, с полной выкладкой, с шинелями в скатках, с винтовками за плечами.

Здесь же назначали свидания, у ворот.

Здесь же покупали арбузы и яблоки.

Именно здесь мы прожили страшное и прекрасное время — лето сорок первого года. Страшное оттого, что фашисты уже захватили почти полстраны. И прекрасное оттого, что мы были настолько глупы и молоды, что даже война, фронт, гибель наших товарищей и подруг — все это не предчувствовалось, не ощущалось. Мы об этом еще всерьез и не думали!

Сейчас вспоминаются эта улица, город, базар, церковь, дамба, ведущая к реке, старый парк в пожухлой сентябрьской листве, Казачий бугор. Будьте же вы благословенны, места, пережившие и Мамаю и Гитлера! Может быть, вы сумеете донести до каких-то прекрасных дней в неведомых нам, грядущих веках, до еще не родившихся поколений и всю чистоту золотого песка на Хопре, и зелень листьев берез, и синеву спокойного, мирного неба, и улочку на окраине под названием «Мамаева протока»... Доживите, родные березы, родные пески, родной тихий ток течения хоперских вод, до грядущего. Будьте счастливы!

\* \* \*

Улица моего генерала...

Почти каждый день хожу по улице Ефремова, самой грязной и самой неблагоустроенной улице Москвы. И всякий раз у меня возникает желание произвести некий эксперимент, расспросить у проходящих, знают ли они, в честь кого так названа улица, кто этот Ефремов и т. д. Долгое время я не решалась. Наконец вижу молодую, очень милую женщину, судя по всему, вежливую и отзывчивую. И спрашиваю у нее:

— Скажите, пожалуйста, как называется эта улица?

Она удивленно приподнимает красивые брови:

— Малая Трубецкая.

— Нет, не эта, а вот эта, по которой вы идете.

Женщина молчит.

Какой-то шагающий позади нас маленький лысый человечек отвечает угрюмо и нехотя:

— Улица Ефремова.

Он идет очень быстро, но я его догоняю.

— Простите. Я очень благодарна за ваш ответ. Но кто такой — Ефремов?

— Летчик. Убит на войне.

— А вы точно знаете? Может быть, это совсем не летчик, а командующий 33-й армией, погибший в окружении?..

У меня-то дома, в письменном столе лежат фотографии, от которых мне всякий раз делается нехорошо. Вот он, молодой и красивый, с ослепительной улыбкой, с двумя орденами Красного Знамени на груди, обнимает морду прекраснейшего белого коня.

Я знакома с его семьей, с его сыновьями...

И вот он, тяжело раненный, в окружении и не желающий попасть в плен, стреляет в себя. И вторая фотография у меня в столе, на которую я просто боюсь глядеть: высокий, стройный красивый человек в генеральской форме лежит на простых деревянных носилках, на которых обычно строители таскают песок и гравий, он лежит мертвый, а вокруг него немцы и наши военнопленные, которым приказано его похоронить...

Лица моего генерала. Хотя я ни разу своего генерала не видела в жизни. Просто знаю, что он был командующим 33-й, а я в 33-й армии прослужила почти четыре года.

И вот этот лысенький, сказавший, что Ефремов — летчик, убит на войне, в ответ на мое возражение оборачивается и с нескрываемым презрением, грубо говорит:

— Ваенная!

Что он этим хотел сказать, этот дурень? Ну, что из того, что я — «ваенная»? Что я — качеством хуже, чем ты? Разве я не спасала десятки и сотни раненых, разве я хоть чем-нибудь причинила тебе неприятность, что ты с такой грубостью и с такой наглостью откликаешься на мои слова:

— Ваенная!

Да. А я этим горжусь, что «ваенная»! И никогда не променяю твою сытую сегодняшнюю жизнь на ту страшную, холодную и голодную. И на ту опасность смерти. На те морозные ночи на снегу при сорокаградусном морозе. И если ты за это сказал мне оскорбительное в твоих устах: «Ваенная», — то я действительно военная и готова сражаться еще и сегодня с такими, как ты.

Я — «ваенная», а ты, видимо, тыловая крыса, судя по выражению твоего лица и по тону. Ты из тех, кто завидует инвалидам войны, когда они берут хлеб без очереди.

Горжусь тем, что ты меня оскорбил, я эту твою ненависть воспринимаю как высшую награду.

\* \* \*

Странное у меня чувство: теперь мне кажется, что если бы я не ушла на фронт, то и войны, может быть, не было бы. Если бы я не оставила родительский дом, может быть, он уцелел бы, не сгорел под

бомбежками. Если бы я не писала повестей, романов, стихов, а главное, критических статей, может быть, моя жизнь была бы такой же счастливой, как у простой домашней хозяйки, озабоченной лишь готовкой и стиркой.

Да, я тогда удовольствовалась бы малым, я считала бы копейки (впрочем, я и сейчас их считаю), и никогда бы, никогда не была бы доверчивой, а всегда подозрительной и настороженной. Но, увы...

\* \* \*

Еду на попутной полutorке с грузом медсанбатовских носилок и меховых одеял после того, как сдала своих тяжелораненых в полевой армейский госпиталь. Машина идет к фронту, к передовой, а это значит, что загружена до предела. И все же молодой паренек, шофер, находит возможным подобрать и меня, замерзавшую на перекрестке дорог, на ветру, на тридцатиградусном морозе. Я сажусь к нему в чуть подогретую мотором, воняющую отработанным газом кабину. Уже ночь. Клонит в сон. Мотор мерно гудит. На обдутых ветрами обледенелых подъемах и взгорках он взывает, ревет, а потом притихает, когда осторожно спускаемся к руслу каких-то неведомых мне занесенных снегами речушек, в овраги.

Едем без фар — из-за ночных бомбардировок с немецких самолетов. Фашисты обычно выискивают такие одиночные машины, чтобы помешать перевозкам, нагнать страху. Бросит бомбу — и деру. И все безнаказанно, по-пиратски.

Мы задремываем понемногу. И вдруг резкий рывок и визг тормозов: вероятно, водитель заснул, а проснулся от ужаса, — прямо перед нами белесый, чуть покосившийся кузов застрявшей полutorки. Быстрым, почти механическим движением робота паренек успевает вывернуть руль. Мы въезжаем на низенький мост, огибая машину, и с грохотом, с треском и лязгом железа врезаемся в кузов другой такой же полutorки, почему-то стоящей вне ряда. В радиаторе, сплюсненном, как гармошка, что-то злобно переливается и шипит, громко булькает. Осколки ветрового стекла мелко-мелко позванивают.

— Хорош-шо! — говорим в одно слово и вздыхаем.

Мы сидим и глядим друг на друга. Потом медленно вылезает из кабины, он — влево, я — вправо, и оглядываемся в темноте, озираемся, проходим вперед.

Если бы машина, в которую мы врезались, не стояла бы на мосту вне ряда, наверное, ничего бы не случилось. Но она стояла, тоже врезавшись в кого-то впереди идущего. И у нее радиатор сплюснен, словно кто-то его сдвинул двумя могучими руками, и больше не растянул, не сумел.

Споры, крики, матерная брань. А я хожу позади своего шофера и все удивляюсь. Ведь по правилам мы должны были бы влипнуть не в эту, стоящую чуть подалеже машину, а в ту, что находилась ближе, в самую первую. Но тогда у нас не только радиатор был бы сплюснен в лепешку, а и наши тела. Тогда мы, наверное, больше не двигались бы, не говорили, не ахали, не заглядывали бы под колеса, не стряхивали бы с себя звенящие стекляшки. А этот ужасный гремящий удар — он уже на приержанных тормозах... На излете.

Ночь туманная, темная, «тучная», как сказал мой попутчик-шофер. А я думаю о войне и о том, что возможность не сносить головы для солдата, а наверное, и для меня существует не только в моменты боя, бомбежки или вражеского арналета, в момент окружения, а еще и вот так, на армейской дороге, в тылу, в ночной поздний час, когда притупляются чувства и нервы...

Я испытываю почти нежность к незнакомому спасшему меня и себя человеку, просидевшему в темной вонючей кабине со мной рядом всю ночь, но сказать ему ничего не успеваю. Грузный, темный мужчина, водитель грузовика, стоящего в голове колонны, молча, даже с какой-то намеренной грубостью, загребает мои одеяла, носилки и уходит вперед. И я тихо, покорно шагаю за ним...

Как звать тебя, парень?

В живых ли ты сейчас?..

\* \* \*

Один известный советский поэт сказал, что на фронте любили фронтовых девушек, так сказать, за неимением лучших. Но, однако, желаю задать частный вопрос: а почему же лучшие-то не были в то жестокое время на фронте? И чем они лучше тех, которые воевали?

Я их знаю, хваленых, с каким презрением они окидывали нас взглядом, на сутки приехавших с Западного фронта в Москву. И шинель-то на нас мешком, и сапоги-то кирзовые на четыре номера больше ноги, чтобы можно было их натянуть на портянки. И в брюках-то мы, но не в дамских, изящных, а в ватных, мужичьих.

А я как-то однажды привезла с переднего края раненых в госпиталь, в Голицыно. И выбежала мне навстречу сестричка, кудрявая-раскудрявая, кудри шелковые по плечам, в чисто выстиранном белом халатике, и схватила моего раненого прямо за простреленную ногу, в гипсе, потащила перекладывать с наших медсанбатовских, на свои госпитальные носилки. Раненый громко вскрикнул от боли, потом помолчал и говорит: «Отойди, кудрявая, пусть меня наша сестра переложит...»

Для меня эти слова — лучшая награда. Я-то ведь и не знала, что уже наловчилась, «умею», я все думала о себе — недоучка, «скоро-

варка», «вертолет». Нас учили-то всего два месяца, а потом, после выпуска с курсов, в тот же день — в стрелковую дивизию.

А может быть, и не нужно слишком много знать, чтобы сразу хвататься за перебитую ногу, нужно просто — любить? Вот тогда и научишься...

\* \* \*

До войны я не знала, что такое бессонница. Лежать до рассвета с раскрытыми глазами и глядеть в потолок — занятие малопривлекательное, по доброй воле ему не будешь учиться.

Может быть, после войны, после тяжелой физической нагрузки мне стало этой нагрузки не хватать, поэтому и бессонница? Не знаю.

Но ведь началась она не после салюта Победы. Началась она там же, еще в сорок первом, еще под Москвой, в те самые дни и часы, когда падали от усталости. Бывало, трое, четверо суток на ногах. Сперва на марше по глубоким снегам, километров двадцать пять — тридцать. Потом по прибытии на место, а это чаще всего глухой подмосковный лес, занесенный снегом, и тебя в нем никто не ждет, никому ты не нужен, никто не приготовил тебе ни жилья, ни еды, — поэтому сразу же, без отдыха, с ходу мы беремся за лопаты и начинаем этот снег под деревьями расчищать. На расчищенные места выгружаем имущество, тяжеленные тюки брезента для ДПМ-ских палаток, доски, колья, стекло, оборудование, печки-бочки, автоклавы, носилки, пачки меховых одеял, продукты, медикаменты... Потом вбиваем колья в промерзшую землю, натягиваем брезент, устанавливаем печки-бочки. И пока работаем, пока двигаемся, нам тепло, даже в 20—25-градусный мороз. Но как только усталость взяла свое, захотелось присесть, так тут же начинаешь мерзнуть.

Потом мы еще не успели затопить печки, погреться, поесть, как приходит приказ: ехать дальше. Дивизия за это время продвинулась на десять — пятнадцать километров вперед, и мы не должны от нее отставать. Значит, нужно гасить печи, укладывать, свертывать имущество, грузить его на повозки, на машины, а самим снова в путь, по снегам. А там, на новом месте, начинать все сначала. Да еще в самый трудный момент развертывания привезут колонну машин, груженную ранеными. И тогда — разрывайся, спеши, торопись, успевай поворачиваться.

Иногда без подменки работаешь столько времени, что уже не различаешь ни ночи, ни дня, лица людей расплываются перед тобой, как в тумане, берешь в руки шприц, а пальцы не держат, он вываливается из рук на брезентовую подстилку.

Помню, я однажды сменилась-таки, наконец, легла в отгороженном ото всех закутке на ветках елового лапника, а уснуть не могу. Кровь звенит в голове, в теле неестественная невесомость, словно я уже живу в каком-то другом измерении. Приняла одну таблетку снотворного — не берет. Другую. А сна — ни в одном глазу. Третью. Только начала засыпать, приходит комиссар батальона Румилов и говорит, что привезли раненых, что Лизунова, которая меня сменила, дежурство мне «вернет» и повезет колонну уже обработанных раненых, а мы будем принимать «новеньких», кормить их, перевязывать. Спать теперь нельзя, уже некогда.

Я, конечно, встала. Приняла снова дежурство от Иры. Пошла по палатке, хотя чувство невесомости, никогда не ощущавшееся прежде, пошатывало меня. С трудом добралась до печки-бочки: возле нее стояли складные брезентовые табуреты. Я села на один из них — и чувствую: падаю, а удержаться не могу. Больше ничего не помню.

После санитары рассказывали: упала я лицом в дрова, в лапник. И лежу. Они меня подняли, положили возле печки, в тепле, укрыли шинелью. И я проспала почти сутки, беспробудно, а они сами, одни управлялись, все делали без меня, мои мужички, воронежские колхознички, не спавшие столько же, сколько и я, и делавшие всю тяжелую работу, как и мы, плюс еще тяжелейшую, которая нам, девчонкам, совсем не по силам. (Долбить землю для могил в промерзшем грунте, таскать раненых в операционную и обратно, подавать судна «лежачим», выносить мертвых...)

Я уже в который раз берусь описывать этот эпизод, и в книгах моих он как-то косвенно был отражен, и все же не могу найти достаточно выразительных слов, чтобы человек, не видавший войны и не переживший всех этих тягот, понял хотя бы десятую часть: каково оно было т а м. И какой-нибудь человек — имярек, — их сейчас очень много, говорит: «Хватит жить старыми заслугами! Подумаешь, вы — воевали... А чего вы там делали, на войне?!»

Чего делали — делали...

\* \* \*

Я думаю, сознательно или же бессознательно, но многие военные писатели в своей работе следуют манере Александра Дюма, заявившего: «Что такое история? Это гвоздь, на который я вешаю свои картины». Несмотря на всю внешнюю лихость такой формулировки, мы в ней обнаруживаем большую художническую правду и мудрость. Не случайно романы А. Дюма живут и поныне. Этот творческий метод

мне кажется куда плодотворнее метода пунктуальной и тошнотворной точности полковых писарей...

Художественная литература не дублирует военную сводку. У нее иная роль — будить мысль и привлекать внимание к событиям, оказавшимся вроде бы незамеченными. Нет, неправда! Их все же заметили! Не бывает такого, чтобы кто-то чего-нибудь не заметил. Но еще нужны и желание видеть правду в замеченном и умение видеть детали в той истинной правде...

\* \* \*

Отчего одни женщины меняются с возрастом совершенно? Их черты расплываются и грубеют так, что и не узнаешь при встрече в толстой, старой, накрашенной тетке ту нежную, беленькую, с тоненькой талией, с нежно-розовыми, как цветы яблони, губками...

А иные сохраняются как эталон. Как будто и не было ничего: ни войны, ни послевоенного голода, ни труда, ни забот, — та же смуглая розовость кожи, та же нежность губ, яркость глаз. И взгляд все тот же — умный, ясный, внимательный, всепонимающий. Как она, моя дорогая, вот так сохранилась? Неужели за чей-нибудь счет?..

\* \* \*

В медсанбате я была комсоргом. Неосвобожденным. Работала, так сказать, по совместительству. Частенько приходилось и ходить и ездить в политотдел дивизии, знала всех: от начальника политотдела старшего батальонного комиссара Михаила Николаевича К. до какого-нибудь там инструкторишки, который побаивался меня, сержантика, не за должность и не за звание, а за то, что я со всем начальством дивизии запанибрата. К. любил, например, поболтать о литературе, послушать, как я читаю стихи, свои и чужие, тихонечко приударял за мной, но так, платонически, полувоздушно. Улыбнуться, сказать комплимент, поцеловать ручку — не больше.

В Мордовии, где мы доформировывались после Новохоперска, я часто ездила в ближний городок, в политотдел, то на совещание, то за наглядной агитацией, то на репетиции художественной самодеятельности. Чего только не придумаешь, чтобы из поселка, в котором мы живем, попасть в «город»! А какой там город — тротуары деревянные, дома одноэтажные. Только вокруг станции лепятся каменные, в дватри этажа. А все-таки тяга. Магазины. Кино. Много молодых командиров. Жизнь веселая, оживленная. Заседлают

мне гнедка, и поехала я по заснеженным полям. Приедешь, оставишь коня у коновязи политотдела — и пошла по кабинетам, послушать да посмотреть, самой потреться.

Придешь к Васильеву. Он сложит бумаги и глядит без улыбки. Всегда рад. Даже смешно и тревожно как-то от его взгляда. Слишком серьезно он ко мне относился. Сразу же все дела забывал. Сяду напротив него через стол, а он говорит: «К. приказал, как приедешь, чтобы сразу же шла к нему!» — «Хорошо», — отвечаю. — «Нет, не «хорошо», а иди!» — «Ничего. Подождет».

Проходит какое-то время. К., конечно, сразу узнал, что я приехала, присылает кого-нибудь. А я сижу, смотрю на Васильева, как он бледнеет, волнуется:

— Иди же, ведь ждет.

— Подождет. Ничего не случится.

Мне с Васильевым интересно, потому, что он всерьез, а К., сразу видно, немножечко мельтешит, лицемерит, и я это чувствую, поэтому мне приятно его унижать. Выдержав характер, захожу к К. Тот начинает разговаривать, не поднимая от бумаг взгляда:

— Где была?

— С ребятами разговаривала. — Для меня политотдельские старшие политруки и батальонные комиссары — ребята, я не очень-то придерживаюсь субординации. Из-за того, что я пишу стихи и даже печатаю их иногда, я со школьных времен ощущаю какую-то свою собственную обособленность от остальных. Все, кто знает меня и эту мою «внештатную» должность: «поэтесса!» — относятся ко мне не так, как к другим. Всегда доброе чувство, внимательность, уважение, я привыкла к этому и ни разу в душе не усомнилась в своем призвании, а главное, в своем праве на доброе отношение.

— Ну, садись, расскажи, как живешь.

— Ничего.

— Не очень-то обстоятельно отвечаешь начальству.

— Как умею.

И так далее. В том же духе.

Он достает из ящика стола свою фотографию, надписывает мне — «на память». Я рассматриваю ее. На фото лицо выглядит гораздо старше, чем в жизни, видны все морщинки, мешки под глазами и эта особенная выпуклость глазного яблока, пучеглазость, которая обычно почти незаметна. Снят он в гимнастерке с накладными карманами, в пилотке с ремнем через плечо.

Интересно, кем он был «на гражданке»? Ведь он же не кадровый военный. Но я не спрашиваю. Когда-нибудь сам расскажет, и я буду сидеть у него в кабинете, внимательно слушать, хорошо понимая, что за стеной, за дверями расхаживает по коридору, заложив руки за спину и волнуясь, Васильев. И мне будет весело, радостно подразнить его, посидеть здесь подольше.

Стыдно? Нет.

Мне даже сейчас, спустя тридцать лет, все это не кажется чем-то стыдным, смешным. Давно умерли эти люди. Один от болезни, другой от осколка мины прямо в сердце, в первом бою, но если бы я даже знала, что кончится это, если бы знала, что доживу до конца войны, проживу уже после победы еще сорок лет и стану рассудочной и угрюмой, все равно я играла бы, продолжала бы ими играть, ибо в этой игре была сама сущность жизни, то самое, что заставляет сердце биться сильнее, что делает небо синее, а воздух свежей, что цветам придает невиданные прежде краски. Когда ты остываешь к подобной игре, жизнь становится серой и плоской.

Вместе с этой игрой, наверное, «отпадают» от твоей души и творческие, созидательные силы, начинается «бег на месте», пробуксовывание, которое завершается старостью и умиранием, этим общим, привычным, но грустным концом.

Дело прошлое, ни того, ни другого я не любила, хотя Васильев был помоложе К. и чем-то мне весьма симпатичен. Но я обошлась с ним очень сурово. Мы поссорились и не помирились до самой его гибели. Только гибель Васильева, его странная смерть, почти фантастическая, за мгновение до первого боя, до изготовления к бою, за секунды до самого главного дела жизни солдата, бойца, комиссара, произвела на меня такое впечатление, что я почувствовала себя виноватой перед ним, виноватой вечно, пока буду жива. Моя ничем не оправданная жестокость и эта игра сейчас переплавились в вечную память о человеке с прекрасной большой и чистой душой. Душой, принимавшей все в жизни как должное, как прямое, не знавшей ни подворотен, ни закоулков, любившей свет и не любившей тьму, а тем более полумрак...

Если бы этим чувством можно было бы воскресить Васильева, с какой бы солнечной радостью я его воскресила!

\* \* \*

Человек пришел домой взволнованный, возбужденный, с журналом в руках.

— Впервые за сорок лет прочитал о боях на нашем участке фронта, даже обо мне упомянули...

Жена взяла журнал, раскрыла на той странице, на которой лежала закладка из свернутого вчетверо листка бумаги, и сказала:

— Я прочитаю это завтра, сегодня мне некогда.

А там было написано несусветное, невразумительное, непонятное человеку невоевавшему: «Между тем противник не прекращал атак».

А?!

Как скучно!.. Не правда ли?

Она положила журнал на столик вместе с закладкой. Прошел день, другой. Третий. Но и на четвертый день, и на пятый, и на шестой журнал лежал нераскрытым, все с той же закладкой, на той же странице. Бумага повыцвела по краям, видимо, никого не заинтересовало, что в журнале упомянуто и его имя, что те самые контратаки противника, которые «не прекращались», никого в семье не волнуют. Это в норме: вы были герои, прекрасно! Воевали себе — и на здоровье, а нам-то какое дело?!

Разве могут мирные люди подумать, что война — это там, где живых людей ни за что ни про что убивают? Что таким убитым мог быть и их муж и отец?! Что в тех самых проклятых атаках, которые не прекращались, немецкие танки шли волнами, двадцать танков, потом тридцать, потом сорок — взамен сгоревшим. Артиллерия была так, как будто хотела переместить, переставить с места на место небо и землю. И тучи пыли плыли вверх, качаясь как будто бы над безвоздушным пространством. А он умирал, засыпанный этой пылью, землей, страхом, болью, — и столько же раз возрождался и воскресал, когда видел сквозь оседающую пыль, как загораются и взрываются танки противника.

Через несколько дней человек убрал журнал к себе в письменный стол, на самое дно самого нижнего ящика. И никто не хватился, никто не вспомнил о том, что в журнале упомянуто имя отца. И что это были события, о которых люди будут вспоминать еще сотни лет.

\* \* \*

Наполеон сказал об одном из своих маршалов: «Он оказал мне услугу даже своей смертью, он учит меня, каких ошибок не следует делать в бою».

Но сколько же было за нашу историю смертей и сколько желающих учиться?

И сколько ошибок — но где человек в треуголке, который бы сделал серьезные, из глубины ума и сердца, важнейшие выводы? Может, и был такой, да у него не было силы и власти Наполеона?

\* \* \*

Я много раз слышала о парадоксе песочных часов — переверни, как говорится, сосуд, и кто побежденный, а кто победитель?! Как на это смотреть...

Но тогда исчезнет идея осмысленности бытия!? Ведь не правда ли?

Тогда к слову «разум» нужно ставить математический знак «минус».

Тогда вся продолжавшаяся миллионы лет эволюция бессмысленна, и даже более того — вредна. Ибо человек, использующий достижения эволюции не для осмысливания себя в окружающем мире, а для запутывания, для обрывания связей в этом мире, гораздо страшнее и опаснее дикаря.

\* \* \*

Каждый человек за что-нибудь да расплачивается.

Один — за то, что уступил. Другой — за то, что не уступил. История человечества — вся! — состоит из уступивших и не уступивших. И притом все идет «вперед и вперед» во имя грядущего.

\* \* \*

Примечательно, что у молодых читателей уже вроде бы несколько спадает интерес к теме войны. Ну, разве что если только про любовь. Или приключения: стрельба, ура, хватай его! А вот большая, серьезная, важная мысль, философия жизни и смерти, чувство любви к народу и Родине, — все это, глубоко волнующее нас, взрослых, им, юным, уже вроде бы и «до фени». Может быть, они думают, что их никогда ничего не коснется?

\* \* \*

Я часто думаю, что это за ночь была? И какая была молодая моя мать и каким был молодым мой отец, когда они любили друг друга и целовались. А родилась — я. Та ночь, наверное, была длинная, страшная, только-только после гражданской войны. И какими добрыми, великодушными были эти молодые и любящие друг друга, полуниси, полубездомные, которые махнули рукой и сказали: «Пусть живет...» И сколько родилось прекрасных и юных после Великой Отечественной. Они выросли из презрения к смерти, из жажды жизни, любви.

\* \* \*

Титон — муж Эос, богини утренней зари. Он был человек, а не бог. И Эос, вымолившая для своего мужа у Зевса бессмертие, впопыхах позабыла попросить для него заодно и вечную молодость. И Титон на

веки веков остался дряхлым — и неумирающим старцем! Бедные наши поликлиники, они и знать не знают — как же теперь им отбиться от Титонов, которые были титанами. Им кажется, что зажились, зажились... А им сам бог даровал эту долгую дряхлость.

\* \* \*

Есть люди, которые после войны насовсем, навсегда потеряли здоровье. «Кровью кашляют, кровью сморкаются». Но как докажешь, что они — инвалиды? Как докажешь, что и не в прославленной какой-нибудь краснознаменной дивизии тоже были герои? И что их героизм никто не отметил — не присутствовал в том бою, не увидел?!

Ничего и нигде не докажешь. И не нужно доказывать. Ибо счастье защищать свою Родину выше здравого смысла, выше всяких наград и выше тех самых людей, которые в фойе всякого рода заседаний и совещаний рисуют своим телом как бы некий угодливый танец.

Танцуйте, друзья, на здоровье танцуйте!

\* \* \*

Вспоминается и еще эпизод. Ранней, ранней весной, очень вьюжной и снежной, в едва наступившие теплые дни пошла я пешком на Шанский завод, а оттуда хотела пройти в 110-ю стрелковую дивизию, к Лиде Терещенко, тоже бывшей медицинской сестре, а теперь «комиссару», политработнику. Налетел страшной силы снежный заряд. В двух шагах ничего не видать, крутит, рвет, снег липучий, насыщенный влагой, все на мне промокло: сапоги, полушубок, ушанка; я чувствую, сырость уже проникает к белью, и не вижу дороги, не знаю, куда повернуться, заблудилась. Сугробы такие, что не вытянешь ног. И вдруг натыкаюсь на угол избы, на какую-то стену. Стучусь. Открывает мне дверь здоровенный мужик в замасленной телогрейке. И штаны у него вроде кожаных, тоже в масле. Шофер. Говорит: разрешите обсохнуть, согреться. Отвечает: пожалуйста. Захожу. В избе их человек восемь-девять. Шоферы все. Документов они у меня не спросили. Говорят: раздевайтесь и лезьте на печку, она теплая, недавно топили. Ну, я залезаю, снимаю с себя все, что есть, остаюсь только в брюках и нижней рубашке. Все сырое. У меня даже партийный билет отсырел, разложила сушить. А у них, видать, тоже в такую метель не работа. Сидят, делать нечего. Кто смотрит в окно, кто курит. Кто на лавке разлежся, накрылся зеленым бушлатом.

А метель все метет, воеет, стучает в окна, пытается выдавить стекла. Вот один говорит:

— Сестренка... Не спишь?

Я, видимо, для них, хотя и с двумя кубарями и с красной звездой на рукаве, все равно, что сестренка.

Отвечаю:

— Не сплю...

— Чего ж ты не спишь? Ты усни.

— Да не спится.

— Ну, давай я тебе сказочку расскажу...

— Рассказывайте, я послушаю.

— Ну, в некотором царстве, в некотором государстве... — и пошел мне рассказывать сказку. Как в детстве. С колдуньями, с бабой-ягой, с красной девицей Марьей-царевной, с Иванушкой-дурачком. Я слушаю. И все слушают. В избе уже сумерки, дело к вечеру.

А другой говорит:

— Ты, сестренка, голодная, небось. Сколько шла... А он баснями соловья кормит. Слезай-ка, давай, да похлебочки нашей поешь, я достану из печки. Еще теплая. Да и мы с тобой поспедаем... Пора.

А есть, правда, хочется.

Я слезаю и говорю:

— Извините, я неодета. Все мокрое...

Тут какой-то парнишка встает и без слова, без всякого объяснения подает мне свою телогрейку.

Я накинула ее на себя. Парнишка мне на руки слил, я умылась. Тот, что сказку рассказывал, подал полотенце. И ложку нашли, я с собой не носила за сапогом. Как окончила офицерские курсы, разучилась с собой свою ложку носить. У нас в госпитале столовая, там все подадут.

После ужина я задремывала на печке и опять просыпалась. А когда просыпалась, смотрела вниз, в комнату, где горел на столе малиновый фитилек. А шоферы сидели кто на лавке возле окна, кто возле порога, а кто возле печки. Они тихо вели разговор: боялись меня разбудить. Но стоило мне пошевелиться, и тот, кто рассказывал сказку, небритый, рябой, с большими, распухшими от мороза руками, меня окликал:

— Ты живая, сестренка?

— Живая.

— А мы уже слушаем, спишь — и даже не слышно...

— Да, нет... Ничего...

— Ну, и то хорошо... Отдохни, спи спокойно...

Ну, зачем я им всем, незнакомая, никому не известная? Забрела, взбаламутила, а кого-то и места для спанья лишила. И вот вынуждены вполголоса говорить, я-то знаю, какой у них между собою бывает мужской разговор. И рассказанная на «засыпанье», как в детстве, старинная сказка... И похлебка из концентратов, с консервами... И чужая еще новенькая, непромасленная телогрейка — промасленную, грязную, мне не дали. И ложка...

Все мое существо, обогретое и накормленное, переполняет невысказанное — а его, вероятно, и высказать невозможно — чувство искренней благодарности, чувство братства с сидящими в полумраке людьми. Я даже не знаю их имен и с усталости не разглядела их лица. Только чувствую это спокойное, доброе излучающее тепло их присутствия рядом с собой, в одной комнате. Может быть, что они в будний день не такие, а сейчас для них праздник, они без работы, поели, попили, в тепле, а на печке — сестренка...

Я чувствую, что была бы не я, а другая, но такая же молодая, усталая, занесенная снегом, — они и к другой отнеслись бы с такой же суровой ненавязчивой добротой, с удивительной человечностью. Так же тихо, сердечно, боясь шевельнуться, терпеливо оберегали бы ее сон...

Утро было морозное, синее, золотое от солнца, и когда я проснулась, в избе никого уже не было, только старший, рябой, что рассказывал сказку, вошел с улицы, внося с собой запах бензина, и сказал:

— Ну, вставай, мы уехали. Дверь прикрой и, во-он, ломиком подопри. Прощевай...

— До свиданья, большое спасибо вам... Что обогрели...

— Будь здорова!

И он только кивнул, уходя, унося с собой все, что было хорошего в эти долгие снежные сутки, уже внешне другой, озабоченный, строгий. И я, выйдя на улицу, оглянулась на дом почему-то с беспечностью, не спросив: кто они, эти люди? Из какого полка, батальона? Что это за улица, на которой стоит их бревенчатый дом, какая деревня? Почему я не знаю их лиц, их имен?

На войне очень многое не имеет цены. Человек словно замкнут в своей бесконечной тревоге внутри — и во внешней как будто спокойной, привычной беспечности. Кто подвез до развилки дорог? Я не знаю. Кто крикнул: «Ложись!» — когда налетел самолет? Кто тащил меня по снегу? Кому я в разбитом, с распахнутой дверью доме перевязывала раны — единственным, сохраненным только лишь для себя, но разрезанным на кусочки и отданным людям бинтом, разве я их расспрашивала, этих раненых: кто они и откуда? Да если бы и спросила, то, наверно, не запомнила бы. А если бы и запомнила, с той поры прошло столько лет, все равно бы забыла. И они, в свою очередь, не расспрашивали меня.

И прошло сорок лет, а я помню и печку, и сказку, и похлебку из концентратов, и долгий метельный, тот мартовский вечер, с буйной вьюгой за окнами, и рябого, и парня, подавшего телогрейку, и малиновый огонек.

Может быть, и они меня помнят?

В селе Никольском — под Москвой, ныне Одинцовский район, — наш медсанбат простоял довольно долго. Может быть, неделю, а может, и больше, не записывала, не запоминала. Дни сливались с ночами в одно неразличимое целое: без еды, без отдыха, без сна, в чаду махорочных сигарок легкораненых, в стогах и криках тяжелораненых, в запахе йода, крови, кала, мочи... Единственное запомнившееся ощущение — хочется спать, так хочется спать, что, кажется, как чеховская девчонка, всех бы задушила, кто мешает, и упала бы на голый пол — и уснула. Но ведь никого не душишь, а продолжаешь работать: этому укол морфия, тому подбинтовать рану на груди, кровоточит, этому катетером откачать мочу, тому дать кислородную подушку, надо следить за пульсом, ввести кофеин, понтанон. Один просит пить, другой просит утку... Ни присесть, ни прилечь, места для меня в избе ровно столько, чтобы стать на цыпочках возле стены, распластав по бревенчатой стене усталую спину и руки и глубоко вздохнуть этот спертый, нагретый вонючий воздух, не приносящий ни покоя, ни бодрости.

Вдруг дверь открывается. На пороге — мой командир отделения военфельдшер Константин Баранов, с длинным, серым, унылым лицом, всегда недовольный, с красными, набухшими от усталости веками.

— Приготовь к эвакуации самых тяжелых...

— Но ведь их нельзя вывозить. Ты же знаешь!

— Приготовь, тебе сказано! И поменьше разговаривай! Тоже мне — привыкла...

Вместе с санитарями закутываю самых тяжелых в меховые конверты, в одеяла, их выносят в пургу, на мороз, грузят в кузова открытых машин-полупорок, возвращающихся с передовой на дивизионный обменный пункт. По дороге эти машины заедут в госпиталь, на станцию, там эвакупункт, оттуда, может быть, раненых повезут прямо в Лефортово, в Москву.

...И вдруг горница словно бы расширилась, перестала быть тесной. Оказалось, что есть у нее окна, они занавешены плащ-палатками. Что есть в ней печь, — на ней лежит старая женщина в темном ситцевом платочке. Что есть стол и есть стул, и я наконец могу до них дойти, не наступая на руки и ноги раненых, даже сест. И старая женщина мне говорит:

— Сейчас всех увезут, я нагрее тебе воды, помойся, вымой голову. Наварю тебе картошечки, ты же не ела три дня, есть капуста, огурчики...

— Ох... — Это единственное, что я могу вымолвить. О картошке с капустой и с огурчиками я могла разве что во сне помечтать.

На дворе глухая, поздняя ночь.

Хозяйка моя говорит:

— Сегодня же Новый год. Я постелечку тебе постелю, отдохни, моя дочушка. Сейчас в подпол слазю за грибочками, за лучком...

Она лезет в подпол, потом вытаскивает из печи огромный чугунок с кипящей водой, поливает мне из кружки на голову над лоханью. Я моюсь, отчаянно соскребаю нарощую грязь — ведь ровно месяц не мылась, как в Павшине сходили в баню, после выгрузки из эшелона, целый месяц по чужим, нетопленным избам, по землянкам, по растоптанной соломе в палатках, не снимая шинели, не стаскивая с ног пропотевших, сырых, грязных валенок.

Без гимнастерки, в одной нижней бязевой рубаше я расчесываю мокрые волосы. Хозяйка в это время расставляет на столе маленькие деревянные чашки с капустой, грибами, солеными огурцами, с рассыпчатой, дымящейся паром картошкой. А я не знаю, что делать, садиться ли есть или рухнуть, не евши, в постель, так хочется спать. Руки словно обмазаны тягучей смолой, чего ни возьмешь, все словно приклеилось от усталости, не отдерешь.

И вдруг в сенях грохот, стук сапог. Дверь распаивается.

На пороге шофер из нашего медсанбата.

— А я за тобой...

— А, прекрасно... Садись, сейчас поужинаем, — и в дорогу.

Шофер смотрит на меня, как на сумасшедшую:

— Да ты что?! — говорит он возмущенно. — Какое поужинаем?

В медсанбате люди с ног валяются от усталости, а ты тут расселась! Ни минуты не жду!

Я натягиваю гимнастерку, обуваюсь в сырые, еще не просохшие валенки, наглобучиваю на мокрые волосы шапку-ушанку.

На глазах у старухи-хозяйки большие, как градины, слезы. Она, тихо всхлипывая, молча глядит на меня, как на мертвую.

— Ну, прощайте, спасибо, — говорю я ей негромко. — Ничего не поделаешь. Так надо.

— Господь тебя благослови! — говорит она в ответ и крестит меня маленькой, темной рукой.

Мы выходим во двор.

Метель крутит белые вихри; мороз крепкий, мои брови тотчас же охватывает куржаком; пока я добираюсь по сугробам до кабины машины, лицо мое становится как будто бы деревянным. Теперь надолго ни поесть, ни уснуть, а ведь я тоже, как и те, что уехали, не пила и не ела и не спала столько же ночей, как и они, а возможно, и больше. Ведь этих богом проклятых дней и ночей в наступлении не считаешь.

Фары узким лезвием света выхватывают из темноты забеленные снегом стволы деревьев, заледеневшую, разболтанную колею, занесенную тут и там высокими пухлыми горбами сугробов — стоячая ребристая серая стена леса слева и стоячая ребристая стена справа.

Голова моя незаметно опускается на грудь, я посапываю и даже слышу свое собственное посапывание, а проснуться уже не могу. Ровно-ровно гудит натужный, не новый мотор, ровно-ровно бегут справа и слева эти серые стены. Позади — недосып, недоед. Но он же и впереди, на многие дни и недели, такой же, по пояс в снегах, на лютном морозе, среди человеческого горя и мук.

\* \* \*

Еще совсем недавно, в очередях, бывало, в метро, в троллейбусе мне говорили:

- Простите, девушка!
- Девушка, у вас нет ли четырех копеек?
- Девушка, разрешите пройти.

И вот, иду дворами, узкими переулками, пересекающими улицу генерала Ефремова (я всегда мысленно называю ее: улица моего генерала). А за сетчатой решеткой детский сад. Ребяточки лет пяти или шести играют в войну.

— Огонь! Огонь! Огонь! — из деревянных «автоматов».

И вдруг один пацаненок говорит строгим командирским голосом:

— Отставить огонь! Какая-то бабушка идет.

Да уж лучше бы они меня убили!

\* \* \*

Поэт, партизан, человек глубоко военный, Денис Давыдов рассказывает нам вещи, которые нужно знать каждому — и всегда.

О сражении при Прейсиш-Эйлау 26 и 27 января 1807 года он пишет совершенно потрясающие строки:

«...не оспаривая священного места, занимаемого в душах наших Бородинской битвою, нельзя, однако ж, не сознаться в превосходстве над нею Эйлавской относительно кровопролития...»

Вот как?! Оказывается, есть и еще кровопролитнее, чем Бородинская! И далее:

«Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трехгранное острие друг в друга. Толпы валились. Я был очевидным свидетелем этого гомерического побоища и скажу поистине, что в продолжение шестнадцати кампаний моей службы, в продолжение всей эпохи войн наполеоновских, справедливо наименованной эпопеей нашего века, я подобного побоища не видывал. Около получаса не было слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов, ни в середине, ни вокруг его:

слышен был только какой-то невыразимый гул перемешавшихся и резавшихся без пощады тысячей храбрых. Груды мертвых тел осыпались свежими грудями; люди падали одни на других сотнями, так что вся эта часть поля сражения уподобилась высокому парашюту вокруг воздвигнутого укрепления...»

Странно. Почему-то каждая новая война кажется людям страшнее войн предыдущих. Видимо, по той причине, что всегда страшнее увиденное своими собственными глазами.

Денис, спасибо тебе, дорогой, за точность, за правду!

«Блистательный Мюрат в карусельном костюме своем, следуемый многочисленной свитой, горел впереди бури, с саблей наголо, и летел, как на пир, в средину сечи...»

Ну, что ж... И это нам знакомо.

Но вот как Давыдов описывает своего главнокомандующего:

«К нему и от него носились адъютанты; известия и повеления сменялись известиями и повелениями; скачка была непрерывная, деятельность неутомимая; но положение армии тем не исправилось, потому что все мысли, все намерения, все распоряжения вождя нашего — все дышало осторожностью, произведениями ума точного, основательного, сильного для состязания с умами такого же рода, но не со вспышками гения и с созданиями внезапности, ускользающими от предусмотрений и угадываний, основанных на классических правилах. Все что Беннингсен ни приказывал, все, что ни исполнялось вследствие его приказаний, — все клонилось лишь к систематическому отражению нападений Даву и Сент-Илера, противостоят штык их штыку и дуло — их дулу, но не к какому-либо неожиданному движению, выходящему из круга обыкновенных движений, не к удару напропалую и очертя голову на какой-либо пункт, почитаемый неприятелем вне опасности».

Кто напишет сегодня такое, анализируя события даже древнейших прославленных войн?

\* \* \*

Был в моей жизни один прекрасный вечер, на котором все говорили, что хотели, никакой столичной официальщины. Еды было вдоволь, питья тоже, и люди пришли все самые лучшие — то есть те, кто захотел прийти.

Один сказал, что я, видимо, недовоевала на войне, что я и сейчас еще воюю. Это было сказано довольно точно. Хотя на войне я видела своих врагов в лицо, а вот с кем я сейчас воюю, я и сама не знаю. Одни только улыбки. Одни расшаркивания и целования ручек. А вот кто из поцеловавших ручку сделал подлость, — как это узнать?!

А еще одна милая молодая, прекрасная женщина — на войне она была партизанкой на Брянщине — сказала другую прекрасную мысль. (Я-то знаю, как она любит прихорашиться и пококетничать). Так вот она сказала:

— До каких же пор уменьшать себе года? Эдак, может оказаться, что мы и на войне не были. А мы никогда не отдадим из своих прожитых лет это страшное время — войну. Она с нами. Это мы победили. Это мы голодали. Это мы умирали. Неужели же для того, чтобы казаться моложе, я сейчас отрекусь от тех страшных, кровавых лет? Да ни за что! Пусть я буду выглядеть в глазах окружающих постарше. Но я прожила это время, я воевала, а они моложе меня, они — нет...

По-моему, это тоже военное мужество — быть прекрасной и молодой, быть веселой, умелой, певучей, энергичной, тянуть весь семейный и служебный воз и признаться в своих годах. Да, а что же делать? Приходится признаваться, пока время не поставило свой автограф на твоих бровях, на висках, на улыбке...

А война-то была, была в наших судьбах. И от этого действительно никуда не денешься. Живи и смотри на окружающих с высоты своего пережитого,— даже если никто за это не поклонится!

\* \* \*

На войне рядом с горько-соленым было много и сладкого,— если, конечно, за сладкое принять просто житейски-смешное. А смеялись иной раз до слез.

В ноябре 1941 года 329-я стрелковая дивизия формировалась на мордовской земле. Полки стояли в лесах, а наш медсанбат расположился неподалеку от станции, в рабочем поселке. Жили в маленьких домиках, а все занятия, все собрания, все общие построения проходили в здании местного клуба. От домика медсестер — в двух шагах. Вот набродимся мы по морозу в часы строевой подготовки или занятий по тактике,— а зима в том году начиналась лютая,— намерзнемся так, что в домик войдешь, хлебнешь ложку щей или каши на ужин — и вместо положенной по расписанию самоподготовки — на нары и... спать. Благо, никто за нами в то время особо не присматривал и не проверял.

И вот, кажется, только-только смежила глаза, а уже крик: «Па-а-дъем!»

Это значит надо идти строиться на вечернюю поверку. А в домике у нас жарко, бывало, что и раздевались еще до отбоя. Всканиваем в одном нижнем белье, а одеться нет времени. На босые ноги, без

портянок натягиваем сапоги, на нижнюю рубашку и кальсоны — шинель. И бегом по лестнице вниз, в зал клуба. Почему-то зал был расположен значительно ниже других помещений. Выстроимся перед комбатом — и не дышим, глядим: заметил он, во что мы одеты или не заметил. Сколько раз нам это сходило с рук, теперь и не вспомню. Много раз. Однажды попались.

После проверки командир батальона Иосиф Григорьевич Поляков закричал: «Р-р-разойдись!» И вот мы, вместо того чтобы выждать, пока он уйдет, побежали по лестнице первыми, перед ним. Тут-то он и увидел, что у каждой между шинелью и сапогами сверкают кальсоны...

— А ну-ка, а ну-ка,— окликнул он Нюсю Платонову, попавшую ему на глаза.— Товарищ сержант, воротитесь!

Но Нюся нашлась. Веселая, по-мальчишески озорная, она с серьезным видом прижала ладонь к животу и скорчила жалобную гримасу:

— Товарищ военврач третьего ранга, не могу... А то тут же в штанишки наделаю... В другой раз! Хорошо?

Комбат просто остолбенел.

Полночи мы не спали, смеялись, хохот волнами ходил по казарме. А утром проснулись — и ждем не дождемся грозы. Уж скорей бы казнил, не томил наши души. Следим за комбатом глазами. Куда он повернется, туда и вся медрота глядит: вот сейчас он нас выстроит — и разнесет, распушит так, что клочья от Нюси Платоновой полетят. Да и от нас тоже. Но командир батальона и ходит спокойно и глядит не-сурово. Даже виду не подает, что накануне произошло нарушение дисциплины.

Зато с того вечера в часы самоподготовки обязательно кто-нибудь из командиров взводов или отделений приходил к нам в казарму и проверял: чем мы занимаемся до отбоя, какими делами, какие уставы и учебники изучаем, какие книги конспектируем.

\* \* \*

8 мая я разбудила мужа — ветерана Великой Отечественной — в четыре часа утра.

— Вставай, война кончилась!

Он сперва ничего не понял, рассердился за то, что подняла ни свет ни заря, а потом вдруг все вспомнил, вскочил, и мы сели на кухне, и он закурил.

Тридцать пять лет Победы!

И мы вспоминали каждый день и каждый час, как мы встречали Победу. Были с А. В. на одном фронте, чуть ли не в десяти километрах

друг от друга, но в разных частях и не были знакомы. И даже не предполагали, что потом почти тридцать лет проживем вместе — без бурь и ураганов, в тихом, мирном быту, в полном счастье и в полном согласии...

Вспоминаем — и слезы на глазах.

\* \* \*

В тот же самый день Победы, уже к вечеру, иду по переулку. Навстречу идет такая дряхлая, такая ветхая и плохо одетая старушка, что невольная рука тянется подать. Подаю ей бумажку.

— С днем Победы, матушка!

А она то ли не слышала, то ли не поняла, спрашивает:

— Кого, доченька, помянуть?

— Двадцать миллионов человек, матушка!

\* \* \*

Между прочим, в романе «Весна на Одере» Э. Казакевича есть такой эпизод. Капитан Чохов едет в карете с гербами к линии фронта, и начальство ругает его за эту карету. С фактической точки зрения это полная чушь. Кто мог ругать Чохова, когда целые армии и отдельные догоняющие свои части бойцы, и целые подразделения мчались к переднему краю на самых невиданных транспортных средствах. На велосипедах всех марок, в том числе и на гоночных, и на, как тогда говорили, «подручных» средствах. На похоронных дрогах, в архимандритских колясках, на шарабанах, на тарантасах, в двуколках, на фурманках и в жокейских качалках. И все это двигалось не раздельно, так, чтобы можно было нечто диковинное разглядеть, а в общем, едином потоке, сплошной лавой, по грязнейшей весенней дороге, по валяющимся на булыжнике трупам убитых автоматными очередями свиней, по пуху из подушек и перин, по комьям бумаг, развеянных кем-то по ветру, по брошенным противогазам, по тряпкам.

Помню, в Бомсте солдаты разбили универсальный магазин, в котором засели гитлеровцы, и какой-то боец, победивший их, жаждавших крови любой ценой, расстелил по расплывшейся грязи целую штуку красного сукна, цвета этой самой крови, раскатал аж до самой кромки, а потом, как король, подбоченясь, прошел по ней в своих кирзовых сапогах: знай, мол, наших! Сел опять в драндулет — и покотил на запад. И никто его не ругал. Да и некому было ругать, ведь все двигалось, ехало, мчалось к Берлину, мимо остолбенелых фрицев, с оружием и поклажей, с походными кухнями, стоящих в весенних лесах, прямо возле дороги, ожидающих, когда же их наконец возьмут в плен...

\* \* \*

На собрании некто Сидоров критикует начальство. А начальство сидит здесь же, в зале, но только чуть повыше, в президиуме. И начальство обрывает говорящего:

— Регламент!

— Но, Иван Григорьевич, — напрягается выступающий. — Я ведь только по существу...

И тот, нехотя, улыбаясь, наконец разрешает:

— Ну, ну... Продолжайте существовать...

\* \* \*

Есть в году один день, в который мне обязательно позвонит, хоть из-под земли, бывший лейтенант-зенитчик из 113-й стрелковой дивизии. Да и земля перевернется, если такого звонка не будет. Я уже с утра жду его, говорю своим близким: «Неужели Толя Горышев не позвонит?» И он обязательно, хоть поздно вечером, но позвонит... Мой спаситель, человек, которому я обязана жизнью. Это он с Гришей Парамоновым тащил меня, контуженную, по снеговой целине, под пулеметными очередями с налетающих «мессеров». А с запада уже перли, видимые невооруженным глазом, немецкие танки. А по окраине деревни, куда меня несли на руках два бравеньких лейтенантика, уже били и били немецкие минометы. И вот два лейтенантика, не донеся до самых ближних домов, зарыли меня в снег, — пули клалаца на ледянистый наст в каких-нибудь двух шагах от меня, — а сами ушли искать снаряды для своих крохотных пушечек 37-миллиметровок.

А потом я лежала в нетопленной грязной избе на полу, а мои лейтенантики втаскивали в горницу раненых и каждому говорили: «Ну, ты наклонись к ней поближе, она перевяжет». И я резала ножницами свой единственный индивидуальный пакет, чтобы приложить хотя бы небольшой стерильный кусочек к ране, а мои лейтенантики рвали свои нижние рубахи на полосы и привязывали, прибинтовывали к телу эти жалкие лоскутки.

...А потом они вышли на улицу и поймали бесхозную лошадь, запряженную в сани. Положили меня на сено, а лошадь хлестнули — и помчались мы в тыл под сериями летящих прямо на головы бомб...

А потом я лежала в санчасти, километров за семь от переднего края, и опять налетели самолеты, и одна бомба попала как раз в тот самый дом, в котором я лежала на нарах. И они прибежали возбужденные, белые от испуга. «Жива?» — «Как видите, жива, только жить больше негде, и шинель мою изорвало в клочки». — «А мы с Гришей смотрим, летит бомба — и прямо в санчасть. И батарею бросить нельзя. Мы вчера ее притащили сюда, со снарядами...»

Святые люди...

Гриша убит на Кубани, подбил самолет, и тот рухнул прямо к нему на батарею. А Толя прошел всю Европу «за три перекура». И вот встретились мы после войны на Неглинной, в Госбанке, в очереди. Я меняла марки, а он форинты на советские наши рубли. Еще в форме, со всеми положенными орденами. Гвардеец, в усах. Я даже сперва не узнала.

2 февраля 1942 года. Западный фронт. Деревня Белый Камень...  
Неужели мы все это видели, пережили — и остались в живых?!

\* \* \*

Только военный корреспондент поймет до конца и основательно другого военного корреспондента.

Ехать в любой час суток, в любую погоду в район, еще не освобожденный от врага, туда, где идут бои. Ехать, не зная ни географии этого района, ни его топографии. Ехать, не зная, — там победа или наше поражение. Например, я иду, а навстречу мне раненые, опирающиеся кто на винтовку, а кто на плечо такого же раненого товарища. Бинты в саже, в крови. А рядом со мной, на дороге, дурманными факелами, один за другим вспыхивают от немецких снарядов бронетранспортеры с нашей пехотой. И никто из бойцов не успевает выскочить из этих бронетранспортеров. Все дымится густым мазутным дымом и вонью горелого мяса.

И кто мне объяснит, что здесь происходит?

Но я иду дальше.

У меня нет оружия. Я уже прошла пешком около двадцати километров. Я голодная. А там, впереди, неизвестные мне, незнакомые люди, занятые самым страшным и самым важным для них делом — они ведут бой. И им наплевать, кто пришел и зачем, опишет он их подвиги или не опишет, потому, что и подвигов нет, и желания быть прославленными — в час позора — нет, а есть одно-единственное желание: устоять, победить, не быть расстрелянным за трусость, не быть разжалованным или сосланным в штрафбат. А враг прет. Подкалиберные снаряды пролетают над полем боя, светясь от возникшего в них накала, несущего смерть. И сразу же, рядом, шагах в десяти от меня опять вспыхивает бронетранспортер, полный молоденьких бойцов. Все в новенькой форме, и все с автоматами.

В обороне, например, солдаты настолько изучат и запомнят повадки врага, что живут и ходят, и исполняют свои обязанности, не неся никаких потерь. А вот приехал человек посторонний или же вернулся из госпиталя после ранения солдат, размагнитившийся, разучившийся ползать и пригибаться, а может, еще не успевший вплотную ознакомиться с обстановкой, — и вот он убит. Сразу. С ходу.

Легко. Наповал. И все это так впечатляет, так волнует тебя... И вот тут дурак или дура, не ведающий или же не ведающая ни о чем, кроме своего задания. Да и задание иной раз смешное до слез: напишите о ротном поваре. Или же о повозочном. Напишите, как пришивают подворотнички. Напишите о бане. О том, как подвозят почту. Напишите о санинструкторе, спасшем столько-то раненых... Он-то спас, может быть, и большее количество раненых, а убитых сейчас на поле боя куда больше...

Напишите о генерале.

А черт бы о нем написал! Что же, он не видел, что ли, что враг накапливает свои танки и пушки за холмами?

Напишите о связисте...

А я хотела бы в данный момент написать о себе. О том, что я вижу и слышу, и что происходит вокруг меня, и какой нестерпимую болью все это отзывается в моей душе. Но кто напечатает? Да это, к сожалению, не напечатает и теперь, спустя сорок лет...

\* \* \*

Для некоторых людей война оказалась таким неожиданным новым кругом их жизни, столь несхожим со всем, к чему они приспособились прежде, что они тоже сделали как бы новыми совершенно. Может быть, этим людям казалось, что им нужно во всем соответствовать окружающей смерти?

Человек малограмотный, глупый, ничтожный мог грубо тебя оборвать, осмеять перед всеми. Мог придраться к совершенному пустяку, если должность и чин позволяют придраться. Природа неоправданной жестокости — жестокости к своим, — по-моему, еще никем не осмыслена и не изучена. Солдаты всем сердцем любили своих больших и малых командиров, насаждавших железную дисциплину, то есть тех, кто поощрял отличившихся и наказывал провинившихся. И лютой ненавистью ненавидели тех, кто мелкими, несносными придирками отравлял жизнь своим подчиненным, кто действовал по произволу: нынче так, а завтра как моя левая нога пожелает.

Я заметила, на войне почти ни у кого из нас не возникала одна важная мысль: а ведь кто-то из нас уцелеет... И мы встретимся после Победы. И припомним хорошее — и плохое. И тому, кто тогда, на войне, обижал незаслуженно, унижал беспричинно, будет горько и стыдно...

Нет, я тоже об этом не думала. Никогда не загадывала, что в компании друзей увижу доносчика, подхалима. Или предавшую меня женщину, предавшую глупо, бессмысленно, в пустяке... Или...

Мы стояли тогда в Кременском и ходили по трассе, которую строил наш батальон. Здесь каждый знал каждого: в батальоне, на стройке, не так-то уж много солдат.

Утром рано берешь санитарную сумку, кусок хлеба — и на трассу на весь день, до захода солнца. По березовой и осиновой гати километров на двадцать. Возвращаемся поздно вечером.

И вдруг у развилки дорог появился пост пограничников. Возвращаюсь в село, а ко мне часовой: кто такая, откуда? Предъявите документы. Я в карман, а на мне новая гимнастерка, старая вся истлела, я ее закинула в угол, на нары, а красноармейскую книжку переложить из кармана в карман позабыла.

Называю себя, свою должность, фамилию командира части, комиссара: объясняю, где мои документы. И вдруг вижу: по дороге в село идет наша же девушка, военфельдшер, только из другой роты. Я из второй, а она из первой.

— Вот,— говорю,— она подтвердит. Она из первой роты, а я из второй.

А девушка эта,— не буду сейчас называть ее имени,— глядит на меня и качает головой в темно-синем беретике с красной звездочкой:

— Представления не имею, кто такая. Знать не знаю ее.— И протягивает спокойно и даже подчеркнуто равнодушно свою красноармейскую книжку и спокойно проходит.

Пограничники глядят на меня с подозрением: что, попалась? Ну, ну... А еще говорила!

До сих пор не пойму: неужели этой девушке было так важно, так сладко в ту минуту соврать и унижить меня, это так ее окрыляло, так поддерживало в ней самой чувство силы и какого-то превосходства надо мной, что она не задумалась, не побоялась ни встречи лицом к лицу в тот же вечер в нашей общей избе в Кременском, где мы вместе с ней жили, ни встречи за гранью войны, уже в мирной жизни?! Ни того, что я ее осмею, опозорю? Да, мирная жизнь нам казалась тогда почти фантастической, как полет на Луну. Но мы все же дожили до Победы и до полета на Луну, и живем теперь этой мирной жизнью, где все устроилось и повернулось немножечко по-другому: иной рядовой неуклюжий солдат или скромный сержант стал ученым, писателем или даже министром, а гроза ежедневная, еженощная, старшина или злой помкомвзвода, как был в прошлом ничем, так и в нынешнем и в грядущем не станет никем...

Прошло уже много лет с той поры, когда на вокзале в одном городе я встретила ту, предавшую меня женщину. Я взглянула в ее постаревшее, исхитренное жизнью, пустое лицо и не стала ей ничего говорить. Меня она не узнала. А может быть, просто представить себе не могла, что особа с прической, в сером костюме, в замшевых туфлях-лодочках — это та самая, от которой она отреклась в жаркий, солнечный день на дороге, у поста пограничников. Если б я назвалась, вот бы хлынула краска в лицо, а глаза заслезились, забегали бы...

Нет, я этого не хотела.

Неумение повлиять на судьбу подчиненных никакими иными средствами, кроме грубости и жестокости, это собственно — капитуляция перед сложностью жизни. Я расцениваю сейчас это так. А тогда... Что ж, тогда это было одной из реальностей очень грозной и страшной войны, и с реальностью этой невольно мирились, ибо были другие, гораздо страшнее, не зависящие ни от кого.

\* \* \*

Помню, летом 1943 года, на Смоленщине,— я тогда работала литсотрудником армейской газеты «За правое дело» и много ездила по передовой,— в одной из дивизий «свой брат журналист» прочитал мне стихи:

Великие вещи есть две, как одна:  
Во-первых, любовь, во-вторых, война.  
Но конец войны затерялся в крови...  
Мое сердце, давай говорить о любви!

Я тогда не знала, что это стихи Киплинга, не знала и других его переводов, но прочитанная строфа запомнилась сразу. Я и теперь цитирую ее, спустя столько лет, по памяти. А запомнилась она потому, что сама мысль в ней заложенная, показалась мне правильной, верной. Да, в мире есть много великих и грозных вещей. Ну, еще, например, желание властвовать. Но любовь и война, пожалуй, наиболее грозные, страшные вещи в судьбе человека. Они могут и возвысить его, и унижить, и даже убить. Тему любви и тему войны я, думаю, не исчерпала ни в романе «Ранний снег», ни в повестях «Двум смертям не бывать» и «Ночные птицы». Мне кажется, и другие военные писатели, в сущности, не выходят из этих двух тем, чего бы они ни касались. И тоже не исчерпали...

\* \* \*

Маникюрша говорит пришедшей к ней даме-клиентке:

— Чего это у вас всегда пустые руки?

То есть без колец и перстней, без сапфиров и изумрудов, без топазов и без бриллиантов.

А они, эти самые «пустые» руки, за годы жизни перестирали многие тонны белья, отмыли от грязи сотни квадратных километров полов, да еще отскребая эту грязь лопатой! Они отчистили великое множество кастрюль, отмыли тысячи тарелок, и чашек, и котелков. Наконец, они же, эти самые руки, рыли окопы, держали винтовку, перевязали десятки сотен, тысяч гнойных кровавых ран, они поили

с ложечки тяжелобольных, и они же бросали гранату. Они и сейчас еще могут с нежностью прикоснуться, и погладить, и пожалеть... Разве ж это — пустые?

\* \* \*

Наступает время, когда бывшие фронтовики возвращают друг другу даренные фотографии и письма, написанные в те огненные годы и несущие на себе все черты того сурового времени. Ибо наследовать эти сокровища некому. Разве что лифтерам, которые первыми обнаружат «невыходение жильца» или начальнику ЖЭКа. А им-то на что они, наши страдания и наши откровения?

Понять это может только тот, кто сам, лично, все это пережил.

Недавно моя землячка и однополчанка старший лейтенант в отставке Ирина Ивановна Антипенко, наша умница и красавица, вернула мне два моих письма, посланных к ней из одной воинской части в другую и даже на другой фронт, потому что нашу дивизию к тому времени расформировали. Как же я смеялась и плакала, перечитывая написанное «своею собственной рукой»!

Что за стиль! Что за почерк! Какие ужасные и смешные подробности! Нет, это не я, это, наверно, какая-то другая женщина. Ибо я сегодня совсем не такая...

Нас с Иррой сдружила трагическая и глупая история, связавшая мальчишествовавших девчонок со взрослой и доброй женщиной. А потом мы вместе пережили такое, что страшно рассказывать: двадцать шесть человек наших подруг, вместе с ранеными и больными, немцы расстреливали из минометов, а потом раздавили гусеницами танков. В живых мы остались только лишь потому, что не хватало машин для движения вперед и были созданы два «эшелона», — одни ехали на машинах далеко вперед, «на запад», разгружались, раскладывали палатки, а потом приезжали мы, то есть второй «эшелон». В данном случае во втором «эшелоне» оказались три девчонки из Воронежа и наша умная, добрая Ира.

И вот оно, это глупое и смешное письмо после пережитых ужасов:

«30.11.42 г.

Дорогая Ирина Ивановна! Получила Ваше письмо. Очень за него благодарна Вам и приношу глубокие извинения за долгое молчание. Если бы Вы знали, как мало у меня свободного времени и как трудно мне здесь быть одной, не имея возможности хоть с кем-нибудь поделиться своими мыслями и чувствами, которых за это время накопилось препорядочное количество.

Л. стала проявлять некоторые странности своего характера; однако они не вызовут удивления, если вспомнить, что в детстве она болела

менингитом, а сейчас у нее повторяются мозговые явления. Из-за всего этого на душе мало приятного, ей-богу, иногда хочется выйти на улицу и завять на луну. В. А. мне написал, что Вы снова побывали в Москве. Как я Вам завидую! Вы, наверное, посетили театры, ходили по широким просторным проспектам Москвы с нарядно одетыми женщинами и бодрыми генералами. Ах, как мне приелись «роскошные» наши землянки, наша унылая и бедная жизнь, однообразная зимняя природа.

Мои друзья постепенно уезжают — одни после излечения на фронт, другие в тыл. Остался только один молодой паренек, лейтенант, красивый, высокий, характер у него как у Ивана Б., только еще более резкий, да и весь он скучающий, разочарованный, насмешливый, бездельничающий, начитанный, остроумный, воистину москвич, со всеми присущими москвичам достоинствами и недостатками.\*

Не могу не отметить одно знаменательное событие, которое ничем нельзя объяснить. Известный Вам «майор-орденоносец» точно таким же способом, как и Вас, уговаривал меня перейти к нему в часть. Интересно, зачем. И к чему такая ложь? Этот гнусный поступок вывел меня из себя, и я передала «орденоносцу-майору» через одного верного человека пару теплых слов. Теперь с этим все покончено. Я была бы очень довольна, если бы и Вы дали ему урок житейской премудрости. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Как Ваши успехи, ослепительный старший лейтенант? Ваша фотография, на которой Вы в море цветов, меня обрадовала. Ирочка, если Вам действительно придется уехать из П., то прошу заехать к нам. Это вполне возможное предприятие, если я скажу Вам, что резерв политотдела находится в нескольких километрах от той деревни, где мы с Вами встречались последний раз.

Вот, милая Ирочка, какие у меня дела. С работой пока в порядке. Безусловно, есть мелкие неприятности, но где их не бывает? Комиссар ко мне относится хорошо, начальник ценит мою работу, может быть, даже несколько преувеличивая мои заслуги. Во всяком случае, когда я попросилась отпустить меня на фронт, — мне категорически отказали. Благо, у меня хорошие отношения с Т. и он обещал мне подобрать хорошее место в одной из дивизий.

Стихи переписывать нет времени. Когда-нибудь наберусь храбрости и пришлю все залпом. Пишите, дорогая. Целую Вас крепко, Оля».

---

\* В романе «Ранний снег» Алексей Комаров.

Письмо второе:

«24.10.43 г.

Утро туманное, утро седое. Уже третий год нашей армейской жизни. Сколько перемен! Помните поэму Лермонтова «Боярин и т. д.»? Так вот мы возле «боярина». Ваше письмо меня страшно обрадовало. Если бы Вы знали, как повеяло от него старым добрым временем?! Да, наша жизнь с Вами одинакова. Только прибавьте к этому небесную и земную музыку в огромном количестве, день и ночь терзающую слух. Трудно мне, не раз я рисковала всем, и странно, что осталась жива. Но жизнь эта интересна и увлекательна. Я еще верю в прекрасное, верю в счастье. Неисправимая фантазерка!

Вас я прекрасно понимаю, но это не только Ваш характер виновен, это происходит со всеми. Просто народ устал, измучился, обнажились какие-то доисторические черты характеров, человеческих лиц. Нет времени на соблюдение правил приличия, жизнь идет в бешеном темпе галопа, и людей терзает мысль: «А вдруг она оборвется?..» Как правильна формулировка: «Бытие определяет сознание». И как изменилось мое настоящее «я», какие странные (на прежний взгляд) стала я совершать поступки... Но оставим эту неприятную тему до встречи, нам обязательно нужно разыскать друг друга после войны — ведь мы не поделились еще многими мыслями о событиях нашей военной жизни...»

А вот письмо Шуре Верещагиной, моей подруге по госпиталю:  
«21 февраля 1944 года.

Если говорят, что каждое облачко в небе — это упущенное человеческое счастье, то на моем горизонте сплошные тучи и беспре-рывный дождь.

После всех своих неприятностей съездила я домой в отпуск, одна дорога заняла 18 дней! Поглядела я на жизнь тыла. Вот это действительно тыл! В полном смысле этого слова! Обратная сторона медали, на которой написано, выражаясь языком нашего земляка Бориса Кузнецова: «Оторвем от жизни!» И действительно отрывают. Прямо с головой вместе.

Каждые две недели мы идем «вперед»: «Едут дроги во всю прыть, могут ноги отдавить!» А потом выясняется, что мы остались на тех же самых рубежах. Я простужена, сапоги вечно мокрые. Лечиться нечем. Один мой хороший товарищ сказал: «Лекарства нельзя принимать от случая к случаю, их надо пить так же регулярно, как водку, — только тогда они оказывают действие». Во, какая у меня прекрасная медицина!»

Господи, если бы все мои письма, и письма друзей ко мне, и порванные и потерянные, вернулись. Может быть, в них нашлись

бы детали, которые пригодились не только для «светского» интереса, но и для большого и важного дела!

Помню и без писем многое.

Однако помню и то, как я стояла в конце августа в продутой ветрами березовой роще, на КП дивизии, ведшей тяжелый, нескончаемый бой. Ко мне подошла незнакомая женщина в военной форме с погонами лейтенанта и сказала: «Здравствуй, Оля». — «Здравствуйте, — ответила я. — Но я с вами незнакома». — «Ах, да! — воскликнула она. — Это я вас знаю, а вы меня нет. Я работаю в военной цензуре. Где сейчас Ваня Б.? Как поживает Ирина Ивановна? А что с Шурочкой?..»

Я обомлела.

Целых полгода после этого я не писала писем никому, даже матери и отцу. Перед моими глазами стояла эта женщина, которая знает обо мне все, а я о ней ничего не знаю. Но что же поделаешь, такова была военная жизнь! Из песни слова не выкинешь. А уж хороша ли была та песня или нет, это дело судить не нам, а грядущим поколениям. Мы свое отстрадали...

\* \* \*

Помню, однажды приехала я из Звенигорода, куда отвозила раненых, а навстречу мне комбат.

— Зайди к Солдащенскому! Он тебя ищет.

Солдащенский, Леша, балагур, весельчак, пришел к нам в батальон вместе с новым главным хирургом Дроздовым. Военфельдшер по званию, он, несомненно, знал больше многих и многих военных фельдшеров, так как родом был из Ленинграда, из очень интеллигентной семьи. Немножечко скрипучим голосом, без улыбки, он всегда говорил смешные вещи, и я любила ходить к нему «в гости», когда выпадало свободное время. А тут времени ни у кого — ни у меня, ни у Солдащенского нет, а он меня зовет. Странно!

Прихожу к ним в палатку, переполненную послеоперационными ранеными.

Леша от усталости еле двигается.

— Посиди возле солдатика, — просит он меня. — Дай ему кислород, камфору. Регулярно слушай пульс.

Солдатик лежал на носилках, поставленных прямо на пол. И я села на пол, рядом с ним, у самого изголовья.

Раненый был без сознания, дышал он так тяжело, так хватал воздух губами, что, казалось, искал кислород как чего-то текучего, овеществленного, а тот был бесплотен, не улавливался, не ощущался.

Я нащупала пульс, он был очень частый и мелкий, неглубокого наполнения.

Обвязав марлей нагубник, я дала ему подышать из подушки. Лицо раненого на какое-то время порозовело, но ритм дыхания не изменился, был такой же тревожный, хватающий, жгучий. После камфоры раненый стал немного спокойней. Но бледность его лица уже переходила в серость, в складках рта, в крыльях носа лежали зеленые тени.

Леша время от времени издали взглядывал на меня, а то и подходил, давал какой-нибудь совет. Потом как-то подошел, помолчал. Покачал головой.

— Ладно. Больше ничего не надо делать. Сиди!

Длинна и темна непогожая декабрьская ночь. Длинна и темна тончайшая теплая ниточка жизни в лежащем рядом со мной на носилках, прикрытых стеганым брезентовым одеялом, измученном теле. Нет, уже не длинна. Уже виден ее конец, ее хвостик... Ничего не выражает лицо, глаза плотно прикрыты. Дыхание тихо, почти в норме. Пульс куда-то бежит, бежит, и вдруг словно кто-то поймал его, сжал, и он задохнулся,— отстукал свое. По руке, от пальцев к сердцу, вместо артериальной теплой крови, теперь быстро-быстро бежит белизна...

Я гляжу в лицо солдата, понимая и не понимая, что с ним произошло.

Понимаю, что умирает, что умер у меня на глазах, но не могу этого постигнуть: как? Зачем? Почему? Что случилось в его распростертом, обессиленном теле? Отчего перестали двигаться легкие, работать сердце? Почему не помогла операция, не подействовали чужая консервированная кровь, наконец, моя камфора, кислород?

Остановившимся взглядом смотрела и смотрела на серое, обескровленное лицо с бесцветными бровями, с рыжеватыми давно нестриженными прядями волос на висках...

\* \* \*

Гоняясь за переменчивой модой, люди затрачивают время и гигантский, никем не исчисленный труд. Одни выскивают особой формы каблуки, другие — особой формы шляпу сумку, особой формы часы и т. д. Через год-другой эта форма устаревает, будет модной иная, совершенно противоположная: вместо очень коротких юбок, например, станут модными очень длинные. Вместо тонких и длинных сапог опять грубые, кирзовые. И снова миллионы людей устремятся в поисках самого модного, наимоднейшего. А если бы вместо подобных поисков какая-нибудь дама пошла бы в больницу, накормила бы парализованного, обмыла бы его, убаюкала, как собственного ребенка. Или же действительно бы убаюкала ребенка, но не собственного, а чужого, за которым и ухаживать некому. Или же вымыла бы собственное окно, чтобы оно сияло...

Сколько же в городе было бы чистоты, сколько добра и сколько тепла! Город Солнца! Город мирного неба.

\* \* \*

Землю преобразует не только созидающее начало, но и разрушительное. Убиты на войне миллионы людей, и разве наша жизнь от этого не изменилась? Мне недостает спокойствия и внимательной доброты очень многих простых бойцов, которые во время войны с трехлинейной винтовкой в руках создавали в моей душе ощущение нашей силы... Не бедности, а богатства.

Их уже давно нет, этих солдат, политработников, командиров, а я все еще чувствую, что их нет и больше никогда не будет, я все еще не могу смириться с потерей.

Точно так же мне жаль Митрофаниевский монастырь в Воронеже, разбитый вражеской артиллерией — и не восстановленный после войны. Мне жаль старинное — прекрасное в своей прочности, основательности — здание Воронежского университета. Немцы от него оставили груды пыли. Жаль здания моей школы, перестроенного до неузнавания и теперь превращенного в поликлинику. А ведь в ней учились еще моя мать, мои старшие сестры, я ходила по ее коридорам и лестницам долгие десять лет. В юности все годы кажутся долгими. Их торопишь. Это теперь так хочется замедлить их бег, задержать, остановить, но, увы, к сожалению, они неостановимы.

Мне жаль не только того, что этого всего нет, но и того, что новые поколения их не видели и не знали, что они не ощущали душой, всем своим существом той свежей, искренней, бодрой атмосферы, которая складывалась в нашем обществе накануне войны. Иначе и они бы тоже пожалели вместе со мной.

\* \* \*

Говорят: «Продлите мне жизнь...»

Мне не нужно никакого продления жизни ради одной меня. И уж если такое возможно, и уж если выразаться точно, мне нужно не продление, а повторение. Повторение моей жизни с моим нынешним опытом. Чтобы я могла искупить свою вину перед теми, перед кем виновата, проявить свою любовь и ласку к тому, кого обижала, любя, и кого уже не вернешь. Только ради этого и нужны они мне, эти новые долгие дни и годы...

Сегодня побывала на кладбище у мамы. Октябрь перевалил на вторую свою половину, а в воздухе теплота, придорожные леса ласкают взгляд мягким золотом листьев. На могилах все вымерзло, и только там, где очень любили покойного или покойную или очень были перед ним виноваты, еще цветут одинокие, выжившие цветочки. У мамы на могиле — анютины глазки. У какого-то Аксельрода —

красные розы. У кого-то флоксы. У кого-то сиреневые мелкие хризантемы, мама их называла почему-то «дубки».

Береза у нее на могиле еще в желтой и ржавой листве, а вяз облетел. Будет ли она рада вязу? Ведь вязы стояли под окном у нас в Воронеже, а она не любила воронежский дом, это я его любила как единственно что-то устойчивое, основательное в моей жизни, дом отца, хотя отец с нами и не жил, но он рос в этом доме, здесь прошла его юность, и мне все было интересно и важно — даже бабушкины сундуки на веранде, набитые старыми книгами и журналами и старыми выцветшими нарядами тети Оли, в честь которой названа я, — длиннейшие юбки, испанские черные кружева, туфли из белого атласа на тоненьком французском каблучке, шнурованные ботинки — почти до колен, веера, лорнеты, изношенные лайковые перчатки. Но вся эта мишура не имела цены, имели цену — в наших детских глазах — одни только книги, приложения к «Ниве» и сама «Нива» с ее царями и архиепископами, с войнами, с памятниками старины, с этнографическими зарисовками и усатыми генералами.

Сколько я прочитала тогда интересных вещей в этих сборниках «Нивы», в приложениях, в старых, растрепанных, без конца и начала, пожелтевших томиках! Майнридовские «Водю по лесу» — и Гоголь, его «Страшная месть», его «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Записки сумасшедшего», здесь же лермонтовский «Герой нашего времени», и Диккенс, и многие, многие другие, неизвестные и забытые ныне книги, произведения забытых ныне авторов, я и сама уже не могу вспомнить их названия, но они были о жизни, они давали какое-то представление о том времени, которое было до нас, и это было в них самое главное.

Думала ли я тогда, где упокоится моя мама? И где — и как скоро — умрет Борис? И как будет мучиться в муках голода, умирая от рака, отец? Думала ли я, как будут бежать те проклятые четыре длиннейшие останки — через Крымский мост до Второй Градской больницы, чтобы застать маму еще в живых, задышающуюся, умирающую?

Как буду считать ее последние, предсмертные дыхания?

Я тогда ни о чем не задумывалась. Вот для этого человек и должен иметь две жизни, чтобы одну прожить спокойно, без треволнений, а вторую — в сознании своей ответственности, с чувством неповторимости происходящего, с исправленьем ошибок, с искупленьем вины...

Две жизни... А может быть, три? Тогда мы пойдем и еще что-то важное, наиглавнейшее?

\* \* \*

Никогда не забуду прелестную уличную сценку сразу после войны в Москве. Трамвай остановился у светофора, и я вижу часть улицы.

Молодая изящная загорелая милая женщина в выцветшей военной форме, с погонами сержанта, вся в орденах, а навстречу ей по той же самой дорожке, отведенной строителями — под дощатым козырьком и грубчатой оградой, — старшина, молодой, статный, бравый, с орденами. Дорожка узкая. Женщина сделала шаг влево, а старшина сделал шаг вправо — и они столкнулись лицом к лицу. Тогда женщина сделала шаг вправо, а старшина — влево, и они снова столкнулись. И подняли глаза друг на друга, увидели, как они оба молоды, здоровы, прекрасны — и улыбнулись, просто расцвели улыбками. И тогда старшина сильным, ловким движением приблизил свою встречную-«поперечную» и легонечко перенес ее, освобождая себе дорогу. И они разошлись...

И мне до сих пор грустно оттого, что они так легко расстались. Кто знает, может быть, все счастье жизни заключалось в этой встрече... Может быть, они потеряли то единственное, что выпадает человеку лишь однажды. Может быть, они и созданы были друг для друга — и не знали об этом...

Уж остаться бы ей в его объятиях...

\* \* \*

Удобство — или красота?!

Сразу после войны, после растоптанных, пропахших потом сапог, заляпанных грязью шинелей, после поруганных сел и деревень, разбомбленных городов, после тусклого, серого, нищенского быта мир рванулся к красоте. И в жертву ей принес удобство...

Мебель стала на курьих ножках, ни встать, ни сесть. Посуда стала стилизованная, за ручку чашки не возьмешь наработанной рукой, сразу выскользнет, ибо ручка эта сделана в виде причудливого завитка, а донышко у чашки с копейку. Знай смотри, как поставить, да еще чтобы при этом она не опрокинулась на полированный стол. А если человеку 70—80 лет? Он не может подняться без посторонней помощи с этих прекрасных стульев и кресел, он не может сесть за стол, ибо этот стол ниже пояса. Он не может взять эту чашку, ибо руки у него уже не гнутся. Он не может лечь в современную постель, ибо матрас в ней поролоновый, теряющий эластичность через 2—3 месяца после покупки. Конский волос, пружинивший и не умирающий в своей эластичности, можно найти только в гнездах степных птиц.

Зато одежда, особенно женская, стала одно удобство. Пресловутые брюки. Брюки на всех — на старых и молодых, на толстых и тонких, на красивых и некрасивых, на стройных и горбатых. Прелестные юные девушки, которые по современным возможностям должны были

бы ходить в шелке и кружевах, оттеняющих их женственность, их миловидность, ходят в мятой, залатанной, выцветшей дерюге, именуемой джинсами! Если бы они видели себя со стороны — длинноногие, долгоязыые, с распущенными по плечам волосами, какими они предстают перед уличной толпой! Но чувства самокритики у них нет: они любят моду, еще раз моду, одну только моду.

\* \* \*

Какая суровая Волга! Ветер, тучи. Волна, крутая, словно на море. А потом в ясный, солнечный день необъятный простор на лугу, разливанное море цветов: ромашки, колокольчики, лютики, раковые шейки, медвежье ухо, донник белый и желтый, тысячелистник, таволжка и какие-то беленькие цветочки, мельчайшие, еле видные глазом, но такие душистые, что сердцу делается больно... И ты... Песня песней тебе, твоей доброте, твоей ласке, терпению...

Помнишь, как мы пили воду из минерального источника?

Помнишь, как сидели над Волгой и смотрели на заволжские просторы?

Помнишь, как мы бродили по лесу, по его бесконечным тропинкам, свивающимся в один узел, а потом расходящимся снова, как солнечные лучи?

Помнишь?..

Помни!

Ты мне дал счастье жизни, и я не забуду его никогда!

\* \* \*

Ездили на Николину гору. Мои спутники всю дорогу болтали о лайковых пальто, о замше, о драгоценностях, о дачах, о породистых собачках. Ничего этого нет и не было у меня, и я молчала. Я смотрела в окно на сверкающие перламутром стволы предвесенних берез, еще утопающих ногами в снегу, и думала: «Вот единственная моя драгоценность...» И все время вспоминались годы, когда мы жили на Николиной горе, счастливые годы, ибо мы были еще так молоды, так легки и так здоровы. Какое же это было прекрасное, дивное время! И серые заросли бузины в красных кистях, и тропинка с горы к разливу реки, и дом среди елей, дом с огромными окнами, светлый, чистый, просторный, и маленькая комнатушка, в которой был написан за несколько дней «Донник». Где они?

\* \* \*

Самое лучшее в жизни.

Хоть однажды самой разжечь костер в лесу — и не для забавы, а чтобы приготовить еду и согреться.

Ранней-ранней весной, на рассвете, услышать голос синички, ее скачущую, тонкую, как шелковая ниточка, песню.

Усталой, больной, еле передвигающей ноги найти наконец уют и тепло, долгий, тихий, никем не потревоженный отдых.

Самое сладкое мое послевоенное воспоминание — жизнь в степной деревеньке, сон на теплой печке, раннее вставание, вместе с доярками, идущими на луг, к реке, на утреннюю дойку. Роса на траве, запах крапивы и мяты. Вид душистой сосновой щепы на строительстве нового дома.

А потом — звучание песни, грустной, тихой, рассказывающей о самом трагическом. Как хороши деревенские звонкие голоса!

\* \* \*

Ромашку у нас называют нивянкой. Вроде бы от слова «нива». Но она не растет на ниве, на ниве растет другая, ободранная. А эта растет на лугах. И вот читаю болгарскую повесть и вижу, что у них это слово пишется как «невянка», то есть невянущая, и это вполне соответствует характеристике ромашки. Все становится на свои места. Невянка, невянка, товарищи составители словарей!

\* \* \*

На тех самых столбах, на которых люди вешают объявления: «Пропала собака...» или: «Меняю одну комнату в 28 метров на две в разных районах» и так далее, висит объявление с надрезанными язычками, на которых обычно пишут номер телефона, а сейчас необычно: «Поздравляю с 1980 годом». И на каждом бумажном клочке: с 1980-м. То есть возьмите себе все возможное счастье и всю радость грядущего, неизвестные мне люди, я вас поздравляю.

Ох, какие же есть на нашей земле широкие и причудливо-угловатые, славные души, сколько света и сколько чувств в этих зубчатых белых бумажках!

Жив ли ты, человек?! И здоров ли?! И счастлив ли?! От души желаю тебе всех благ и в 1981 году, и в 1982-м, и так далее. За одну твою добрую, теплую выдумку желаю тебе не жить в одиночестве, когда не с кем встретить Новый год! Желаю здоровья и счастья, поскольку у нас на пороге еще один — Новый... Очень жаль, что рядом с этим объявлением не было номера телефона или адреса, я послала бы

цветы и привет. Может быть, поздравлявший всех нас человек был настолько одинок, что ему жизненно необходима хотя бы одна живая душа, откликнувшаяся на поздравление...

\* \* \*

Александр Блок первым взглянул на землю глазами космонавта.

Да, я возьму тебя с собою  
И вознесу тебя туда,  
Где кажется земля звездой,  
Землею кажется звезда.

Нет, никогда никакие, даже самые гениальные ученые не опередят мысли художника, мысли поэта. Убеждаюсь в этом всякий раз, перечитывая наши лучшие книги.

\* \* \*

Человек живет не только сегодняшним днем. Он, как комета, тащит за собой груз невыполненных обещаний, не сделанных ни вчера, ни позавчера дел, которые, возможно, и завтра и послезавтра не будут выполнены, ибо каждый наступающий день несет к тому же и свои собственные заботы. Может быть, поэтому и сгорают люди, сгорают, как волочащие за собой сверкающий хвост блистательные кометы...

\* \* \*

Женщина, проезжая в машине по деревне, видит кур, копошащихся у дороги в пыли, и восклицает совсем по-современному, по-городскому:

— Смотрите! Свежие куры!

\* \* \*

Человеку иногда достаточно одной беды, чтобы его сломили сразу и навсегда. Но когда беда следует за бедой, когда человека со всех сторон окружают только усмешки, то приходит «второе дыхание», неведомо откуда возникает никем еще не открытая биологическая устойчивость, обусловленная эффектом привыкания, что ли, совсем, как на войне, на переднем крае.

Таково последствие «пережима» во всем. В литературе. В политике. В журналистике. И даже в любви. Ничего нельзя делать «много». В любви, правда, все же видишь любовь, и в этом ее главная заслуга. В литературе пережим становится общим местом и штампом, вызывающим чувство неверия в автора.

Не веришь автору, когда он пишет слишком много и на слишком отдаленные друг от друга темы. Невольно думаешь: «Эдакий универсал!» Не веришь, когда ему все удается. И когда все его хвалят. И когда он всем непременно хорош. В такие минуты ясно видишь фанерные декорации, на фоне которых все это происходит. И даже суфлера.

\* \* \*

Собираемся к друзьям на новоселье. И всегдашняя важная проблема: что подарить? У всех есть свое, уже купленное по вкусу, а вдруг принесешь, да и выругают тебя, а потом выбросят твой подарок в мусоропровод? Оригинальный сувенир сейчас можно привезти только откуда-нибудь с Филиппин, из Мозамбика или же с Таити.

Вспоминается год, когда мы переезжали в теперешнюю нашу квартиру. Я вожусь, оттираю линолеум и кафель от масляной краски. И вдруг звонок в дверь. Входит моя добрая знакомая Клавдия Ивановна с дочкой, несет швабру.

— Вот подарочек на новоселье... Чтобы в твоей квартире всегда было чисто.

Двенадцатый год мы живем в этой новой квартире, и двенадцатый год я подметаю полы шваброй Клавдии Ивановны. Уже нет на свете дарительницы, уже я постарела, а подарок все живет... И всякий раз, как берусь за приборку, вспоминаю ее, простую, заботливую, разговорчивую русскую женщину, так хорошо знавшую жизнь и хлопотавшую лишь о насущном.

\* \* \*

Да, многое забывается из тех черных и красных дымящихся военных дней. А многое остается в сердце навсегда и связывается с нашим сегодня — последний ночлег на польской земле был под Калишем у приветливой, доброй старушки, которая напоила и накормила меня и спать уложила на собственную свою кровать, под белейшую, воздушную «пезину».

Утром сели мы по машинам, я на самую верхотуру, и тронулись прямо на запад, все еще погромыхивающий орудиями, но погромыхивающий уже отдаленно и не громко, не грозно, как прежде.

Проезжаем Опочно.

Где-то западнее его вся дорога в разбитых немецких машинах, повозках и танках. Поле справа и слева от узенькой ленты шоссе распаханное, с побелевшими от мороза, но бесснежными бороздами. И вот по кюветам и по полю поперек борозды как какое-то злобное стадо, как взбесившиеся мастодонты, враспынную бежали от наших штурмовиков, неизвестных мне марок зеленые и оранжевые и белесые грузовики, штабные автобусы, легковые машины. Всюду смятый,

изломанный, искореженный, обгоревший металл, обнажившиеся конструкции, радиаторы, сплюснутые в гармошку, груды ящиков из-под снарядов и всякого хлама, старья, каски, сумки, противогазы и над всем этим — черный пепел и оборванные, измятые, как-то мертвенно шелестящие комья бумаг — тут толстые рваные книги, и «дебет-кредит», и длиннейшие списки, и ведомости, и приказы, — словом, вся бухгалтерия смерти. И повсюду — на бороздах, на дорогах, в кюветах, под колесами обгоревших машин — трупы, трупы... Смердящие сладкой приторной вонью трупы немцев, людская мертвечина... А еще говорят, что труп врага хорошо пахнет! Вот уж этого не заметила. Чего нет, того нет. Эти трупы воняли, как воняют все смертные, и правые и виноватые. Эти, плоско лежащие на земле, виноваты — захватчики, оккупанты, грабители и убийцы, — и вот тлеют теперь на февральском ветру...

Первый город на старой немецкой границе был Бомст. Он запомнился мне черным дымом, клубящимся над домами, резким, звонким потрескиванием лопающейся от огня черепицы, непроезжей, размазанной грязью обочин, мрачным обликом старых ветел, сжимающих своим четким строем шоссе. Над домами, повсюду, из окон и чердаков, хоть и белые, все равно словно траурные, свисают какие-то тряпки, символ полной покорности, сдачи в плен, подчинения перед силой, переломившей их силу.

Мы подъехали к маленькой площади, замощенной булыжником, окруженной домами с высокими крышами и широкими окнами под железными жалюзи — это были, наверно, магазины, но владельцы давно сняли вывески и закрылись, сидят по подвалам, ожидая, когда пронесет, — здесь и встали борт к борту машины. Я сидела в кузове машины, скучая и даже задремывая, — может быть, поэтому и не сразу поняла, что случилось. Только видела: среди группы бойцов проходит высокая немка в черном теплом платке, и вдруг она, выхватив пистолет, стреляет в упор в стоящего посреди площади офицера. На женщину сразу же навалились солдаты, схватили, сорвали платок, ударили несколько раз по лицу, потом с тяжелой, армейской бранью, с угрозами, криками потащили за угол. На площади, возле лежавшего на земле офицера сгрудилась толпа, набравшая на звук выстрела. Я спросила у шофера, вертевшего головой, он-то видел все, стоя на высокой подножке кабины.

— Что случилось?

— Да, немец... Эсэсовец переодетый, сидел тут в подвале, вот вышел, стрелял...

— Ах, сволочь... Убил?

— Да, не-ее, только ранил. Не наш офицер, а какой-то танкист.

— Ишь, белые флаги развесили, — сказал незнакомый мне рыжий ефрейтор, — а сами стреляют из-за угла... Паразиты, фашисты!

Одна за другой выезжали из Бомста наши машины.

Когда разворачивались на площади, я увидела сцену, которая поразила меня навсегда.

Три тяжелых американских студебеккера, нагруженные говяжьими тушами, — по нормам военного времени еда, может быть, на дивизию, не меньше, — свернули к кювету, к обочинам в черной, жидкой грязи, и бойцы, стоявшие возле бортов, принялись эти красные, голые туши, с прожилками жира, лихо, весело сбрасывать прямо на землю, в грязь, не глядя куда.

— Что вы делаете, эй, хлопцы? — крикнул кто-то из-под колес. — Вы что, очумели?

— Валяйте, валяйте, — ответил боец, перекинувший тушу через себя. — Там курятину будете жрать да индеек, у фрицев, в берлоге. А снарядов — нема. Кто их вам привезет?

«Да-а, — подумала я в ту минуту. — Далеко мы ушли от конины, которую ели в Износках, под бомбами...»

На окраине Бомста, уже где-то на выезде из него, мы немного свернули и въехали в оплетенные колючей проволокой распахнутые ворота. Из приплюснутых низких серых бараков навстречу нам вышли уехавшие вперед «квартирьеры» — Валерий Скуридин и наши солдаты: Перемышленников, Тугушев, Данилкин, старшина Виноградов.

— А-а, приехали, — как всегда чуть насмешливо улыбнулся Валерий Скуридин. — Ну, входите в немецкие наши дворцы...

— Да, не очень приглядно, — сказал наш шофер. — Что здесь было при немцах?

— Лагерь для военнопленных.

— Для русских солдат?

— Ну, конечно.

— А где ж они сами-то, наши пленные?

— Да, наверное, уже топают к дому. Ничего, походи, погляди, как тут жили... Такое увидишь!

Пусто, мрачно в бараках. Лютый ветер, февральский, засвистывает в щелях. На нарах истертая в порошок солома — это вместо матрацев. Стены голые. Голый плац посредине лагеря. Вокруг высокий дощатый забор, оплетенный колючей проволокой. Все какое-то неприятное, обнаженное, приведенное, в общем, к нулю. Упрощать больше нечего, разве что только смерть упростит. Да, смерть здесь, по-видимому, была очень проста.

Нет, не хочется мне находиться в этих бараках. Хотя кроме негде: в самом Бомсте все занято другими войсками, там к тому же еще штаб армии, особенно не развернешься. Но я уйду из распахнутых, словно пасть, ненавистных ворот.

На войне так бывает: впечатления некогда перевариться. Они друг на друга накладываются, накладываются вперемешку — к сожалению, не слоями, — и какая-то незначительная деталь после в собственном представлении неожиданно и незаслуженно приобретает значение символа, вырастает до неба, а то самое важное, самое главное из увиденного, что поразило тебя когда-то на миг — между выстрелом или бомбой — вдруг уходит безвестно, бесцельно на дно взбудораженной памяти, как какая-то мусоринка, песчинка, как комочек земли, чтобы лечь там, на дне, и невидимо раствориться, превратиться в бесформенное ничто, именуемое забвением. А забвение — вещь безглазая, бесконечная, у нее нет другой стороны, в ней кончается диалектика, гибнет молча и нехотя все. Так, наверное, утонули во мне и какие-то сцены и встречи в том злопамятном городе Бомсте, а вот что-то осталось, пустое, какой-то действительно пустячок, так, ничто, быть и небыль. Они и остались в душе. И я, как сквозь мутные стекла, сегодня гляжу на свое отражение в те далекие годы, в ту войну, в той стране.

Первым делом там, в Бомсте, я бросилась к старым друзьям, в редакцию армейской газеты «За правое дело», в некогда свой родной коллектив. Я у них проработала литсотрудником очень недолго, всего только год, но ведь это, во-первых, был год на войне, целый год, во-вторых, я у них и до этого часто печаталась, приходила к ним, помню, пешком, издавека, и это они меня разыскали в армейской среде, «из низов», и взрастили, и, что самое важное для меня, — именно здесь я услышала и увидела очень хороших людей, здесь узнала мужскую, суровую дружбу — настоящую дружбу не какие-то там разговоры с пошлинкой, не известный всем женщинам на войне, среди множества молодых и здоровых мужчин, очень «тонкий» намек, а великую дружбу, — при взаимном и радостном уважении битву умов, бесконечное рыцарство, легкую «травлю» и беззлобное остроумие.

Вот я в Бомсте и разыскала их в богато обставленном доме, сияющем белизной, чистотой, с изумительным садом. Пожилая хозяйка — для меня она была дряхлой старухой, фрау Марта — тотчас же принесла чашечку кофе «эрзац» с еще теплым печеньем.

И я поглядела на Ивана Федоровича Трусова — своего старого друга с нескрываемым удивлением.

— О?! Вот даже как?

И он усмехнулся.

— А что ж... Теперь мы для нее оккупанты!

— Да, но сами-то мы оккупантам печеньице не носили...

— Ну, то мы... Дикари! А это — Европа, — объяснил он мне достаточно смутно ситуацию.

— Нет, она бабка, видно, хорошая, — вступил в разговор Анатолий Иванский. — Она делает все от души.

— Мда-аа, душа... От души... Чужая душа — потемки.

— Ничего. Все наладится. Ну, не сразу, конечно.

Я глядела на лица добрейших моих, поседевших за годы войны товарищей. Сколько трудностей, горя, лишений пережили они, пока добрались вот до этого Бомста, и как хочется им сейчас тишины и довольства, счастья, радости, мира — вопреки всему: этой проклятой войне, еще не закончившейся, и той «женщине в черном», то есть эссовцу, стрелявшему в нашего офицера в упор, и барачному городку для военнопленных, за колючей проволокой, и той смятой, истертой в пыль черной соломе на нарах, и снарядам, которые подвезут на машинах, разгружавших сегодня мясные туши прямо в грязь, на обочину...

Мне виделась очень давно, и давно уже разговор перешел на другие, газетные, литературные темы, а в душе все немного скребется какая-то жалкая, грустная мысль: «Фрау Марта... Фрау Марта... Какая заботливая. Ведь никто же не просит ее ни о чем... А она то печенье, то супчик, то кофе несет: «Цо пан хце?» Фрау Марта предпочитает говорить с моими друзьями по-польски, не по-немецки, ей сегодня уж очень хочется быть не немкой, а полькой. Так, наверно, удобней, смягчает, как буфер.

Я разглядываю гостиную, где живут мои братья по перу и газете. Диваны и кресла в аккуратных чехлах. Всюду зелень в вазонах, на стенах картины, и всюду вышивки, вышивки: дорожки, салфеточки, расшитые шелковой гладью подушки. И хотя здесь сегодня, конечно, совсем не немецкий, а все тот же знакомый мне армейский порядок: столы сташены к окнам, наверно, собраны из всех прочих комнат, тут же смятые ложа на привезенных еще со Смоленщины топчанах, разбросанные бумаги, гранки, стопками пожелтевшие книги, фронтовые блокноты, исписанные экономии ради такими немислимими закорючками, что сам черт их не поймет. Однако все это смотрится по-особому, непохожим на прежнее, куда чище, богаче житье по сравнению с жизнью в Лиозно, где нас днем и ночью бомбили, или в деревеньке Гришино, где мы работали в крестьянских избах, а спали на сеновале.

За четыре года войны у нас на глазах было столько разрухи, столько бедности, нищеты, столько всякой рванины, что нам это германское благополучие и довольство и обилие сахара и муки, без которых печенье не испечешь, уже кажутся роскошью, даже чем-то преступным. Да и есть эти вкусности тоже преступно: для чего они нам?!

Когда я ухожу, фрау Марта стоит на дорожке в саду, вся такая опрятная, чистая, почти серая от седины, в серой кофточке, в черной юбке. На ней грубые, но добротные башмаки, руки в старых

перчатках, измазанных глиной: фрау Марта сажает цветы, разрыхляет рабатки и клумбы, разбрасывает удобрения. На прощание она мне почтительно кланяется.

Мы прожили три дня в этом городе, целых три дня, ожидая приказа.

Уже двинулся весь штаб армии, уехала вся редакция, в том числе и мои друзья, уже солнышко по-весеннему припекло, на сирени набухли коричневатые почки, а мы все еще ждем, все слоняемся по готическим улочкам, между старых богатых усадеб, обнесенных, как крепости, высоченными заборами, мимо замкнутых, запертых за железными ставнями чистых, крепких домов. Бесконечные толпы пленных немцев — на этот раз немцев! — потянулись по грязным дорогам с запада к нам, на восток. Многосотенные, а то многотысячные колонны, а ведут их всего лишь два-три скучающих автоматчика, уныло шагающих сбоку дороги. А за колоннами пленных, за последними замыкающими, такие же длинные, неохраняемые, стада одичавших, недоенных черно-белых коров.

— Эх, помыться бы, в баньку сходить, — скулит целый вечер на нарах сержант Тугушев. — Скоро месяц, как топаям, всю Польшу протопали, хоть бы морду почище к победе отмыть...

— Да, неплохо помыться, да где ее баньку взять? У них, у фрицев, видать, бани не в моде.

— Хоть водички нагреть бы в ведре... Да только вот в бараке холодина! Еще холодней, чем на улице, просквозит до костей. И Берлина уже не увидишь...

Я внимательно слушаю этот тоскливый, солдатский скулеж.

И вдруг в голову пришла мысль: фрау Марта! Да она обязательно меня вспомнит. Мы к нейходим, попросим натопить пожарче печь, нагреем воды и устроим себе хорошую баню, уж расплатимся чем-нибудь, не деньгами, так банками со «вторым фронтом» или плитками шоколада, немецкого, из трофеев.

— Пошли, хлопцы! Будет баня. Устрою...

И вот перед нами тот зажиточный, чистенький дом, белый сад. Но никто не встречает на желтой, усыпанной чистым песком аккуратной дорожке. Мы проходим двором, поднимаемся на крыльцо, осторожно стучимся. Никто нас не слышит. Но дверь не закрыта, это чувствую всем плечом. Нажимаю немного, не очень-то сильно; дверь бесшумно распаивается прямо в сени — в сенях не темно, в них густым, желтым плотным столбом стоит солнце, проникшее из такой же распахнутой двери из кухни.

В кухне пахнет похлебкой, только что вскипяченным молоком и знакомым мне пряным, сладким песочным печеньем. За столом сидит щуплый, высокий, морщинистый, уже седенький старичок в фольксштурмовской форме, с былинками сена в нестриженных волосах, он спешит, что-то быстро жует, рядом к стенке приставлена

винтовка. Фрау Марта стоит перед стариком, спрятав руки под вышитым ярким передником.

Вдруг глаза старика странно выпучились, как у вареного рака: он увидел меня и солдат за моей спиной — и сперва побледнел, а потом покраснел, поперхнулся, закашлялся, вскочил, глядя в окно, вероятно, раздумывая, не прыгнуть ли прямо в сад, разбив толстые стекла, — и застыл без движения. Фрау Марта, увидев его, обернулась — и согнулась, как будто бы кто ударил ее в лицо, в грудь, под ложечку. Я не сделала еще шага, а она уже подползла по ковровой дорожке: целовала мои сапоги в жидкой липкой грязи, обнимала мне ноги, лепеча уже по-немецки, а не по-польски.

— Фрау Марта! Как не стыдно! Не смейте! — кричала я, с омерзением отрывая ее цепкие, крелкие пальцы от колен, от сапог. Я на миг задыхнулась: что-то стиснуло горло. Наконец я отряхнула ее бережливо, отступила назад, за порог.

Мои хлопцы рванули быстрее меня, мы опомнились за воротами. Нет, ни я, ни бойцы не боялись винтовки фольксштурмовца, хотя мы пришли безоружные, — да об этой винтовке и не думал никто, мы бежали от смертного ужаса, проступившего на лице старика, от униженной, распластавшейся фрау Марты, целовавшей мои сапоги. Это было неслышанным, нестерпимым, невысказанным, отвратительным зрелищем, я их чувствовала на себе, эти липкие поцелуи, как какое-то стыдное, оскорбляющее меня, унижительное клеймо. И еще ощущение было такое, словно я наступила на что-то живое, и вот это живое было липкое, гадкое, какое-то скользкое. Я шла, передергивая плечами, как-то ежась и морщась от только что пережитого незнакомого чувства. Что-то было испорчено, и притом безвозвратно, в этом ласковом солнечном небе, в этих теплых нахохленных почках сирени, в длинных вешних ручьях, в белых тряпках знамен безоговорочной капитуляции, словно радость и молодость мои как-то сразу уменьшились, словно это не старая немка, а я только что унижалась во имя спасения чьей-то жизни, и сама эта жизнь и само унижение не имели цены, не хотели спасения.

Молча, медленно прибрали мы в барак, уселись на нарах.

Я не знаю, что думали мои добрые хлопцы, как они пережили и перечувствовали всю эту сцену. Ведь никто ничего не сказал, не обмолвился ни словечком. А я не забуду ее никогда. До последнего часа.

**Ольга Константиновна КОЖУХОВА**

**ПОКА ЖИВЫ, ПОКА НЕ ЗАБЫЛОСЬ**

Редактор Д. К. Иванов  
Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 25.04.83. Подписано к печати 12.07.83. А 02730. Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,90. Тираж 100 000. Изд. № 1628. Зак. № 645. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ПРОКАТ ДЕТЯМ**

**● ВСЕ, В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ  
РЕБЯТА, ПРЕДЛОЖИТ ВАМ САЛОН  
ПРОКАТА.**

Пункты и салоны проката предлагают на любой срок коляски, кроватки, детские велосипеды, лыжи и коньки с ботинками.

**Росбытреклама**